



Свечка

Валерий Залотуха



национальная литературная премия
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

лауреат
2015

2]

Самое время!

Валерий Залотуха

Свечка. Том 2

«WebKniga»

2013

Залотуха В. А.

Свечка. Том 2 / В. А. Залотуха — «WebKniga», 2013 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1416-6

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоят он и его ценности. В 2015 году роман стал лауреатом премии «Большая книга», получив вторую премию.

ISBN 978-5-9691-1416-6

© Залотуха В. А., 2013

© WebKniga, 2013

Содержание

Часть третья	6
Глава девятнадцатая. О. Мардарий... и его несчастливое детство	6
...и его трудное отрочество	18
...и его мятежная юность	23
Глава двадцатая. Битва в пути	28
Глава двадцать первая. На эхе ночь	44
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Валерий Залотуха
Свечка. Том 2
Роман в четырех частях с
приложениями и эпилогом
Памяти мамы

© Валерий Залотуха, наследники, 2016
© Валерий Калныньш, оформление, 2016
© «Время», 2016

Часть третья

ИТУ «Ветерок» при максимально возможном к нему приближении

Глава девятнадцатая. О. Мардарий... и его несчастливое детство

Первого августа 1970 года в большой и дружной семье православного священника о. Серапиона Творогова родился мальчик, и, поскольку в тот день русская церковь отмечала день памяти Серафима Саровского, можно даже не говорить, как назвали ребенка – Серафимом, конечно же Серафимом. Но если бы имя давалось не по святцам, а по сопутствующим рождению младенца жизненным обстоятельствам, как это и ныне еще практикуется в иных народах и племенах, то, скорее всего, его назвали бы Конфузом.

«Конфликт разрешился конфузом», – именно так прокомментировал произошедшее отнюдь не выглядевший в тот день счастливым отец.

О конфликте скажем позже, а пока о конфузе...

Спустя положенный природой срок, счастливая, но заплаканная мать – матушка Неонила, виновато потупив взор, семенила с ребеночком на руках к стоящему напротив роддома мужу и отцу под насмешливыми взглядами медперсонала и зевак.

А все потому, что и мать, и отец народившегося ребеночка были весьма немолоды: матушке Неониле – под шестьдесят, батюшке Серапиону – за шестьдесят, причем они имели восьмерых взрослых сыновей и дочерей, и у некоторых из них были уже свои дети.

Это у ветхозаветных евреев рождение у стариков ребенка считалось чудом и фиксировалось в священных текстах, у нас же ситуация, когда бабка понесла от деда и не постыдилась родить, вызывает лишь пересуды да насмешки. Но главное даже не это: как нынче говорят, фишка заключалась в том, что были они не просто дед с бабкой, а поп с попадьей и жили в насквозь пропитанной атеизмом стране, где борода уже вызывала подозрение, а человек в священническом облачении – удивление, недоумение и законное возмущение.

Впрочем, о. Серапион был не в облачении, так как попам тогда строжайше запрещалось ходить по улицам в своей служебной одежде, но все отлично знали, как теперь говорят, «ху из ху», что и подтвердил задрипанный пьяненький мужичок, который битый час толкался перед роддомом в ожидании бесплатного представления.

– Это как же ты, дед, исхитрился? – выкрикнул он задорно и сам предложил ответ: – Не иначе как с кадилом действовал!

На грубую эту шутку публика отозвалась громким смехом, и лишь одна пожилая нянечка из роддома махнула на забулдыгу рукой, порицая его, и, сама того не замечая, отчасти ответила на вопрос:

– Пить меньше надо!

Забулдыга развел руками, мол, куда уж меньше, и засмеялся вместе со всеми. Что же касается о. Серапиона, то он видал в жизни виды и, как говорится, ухом не повел – как стоял, так и продолжал стоять, ни шагу не сделав навстречу счастливой и одновременно несчастной своей жене и матери их общего ребенка.

О. Серапион был не в облачении, но выглядел торжественно: в начищенных кирзовых сапогах, в черной, довоенного еще сукна и шитья, фрачной паре и в застегнутой под горло желтоватой от времени сорочке. В довершение ко всему на его напряженно-неподвижной голове,

словно митра, была водружена черная шляпа – котелок – крайне редкий в тех местах головной убор. В согнутой в локте руке батюшка сжимал самодельный букет из астр и гладиолусов, а на груди, на обеих сторонах его пиджака, алел и золотился иконостас боевых наград: орденов, медалей и нашивок за ранения.

– Ну, здравствуй, мать, – сдержанно поприветствовал он супругу.

Все это происходило в поселке городского типа (ПГТ) Новоленинское (бывшем селе Староуспенском) Ленинского района К-ской области, где все хорошо знали эту поповскую семью, так как другой поповской семьи не было на сотни километров округ. Отношение новоленинцев к Твороговым не ограничивалось одним лишь насмешливым осуждением – тут присутствовали и неприязнь, и страх, и даже ненависть, но в целом к ним относились почти что с сочувствием – как к каким-то бессмысленным, обреченным на вымирание странным и глупым зверюшкам, которые непонятно как и зачем живут и недолго еще протянут.

Хотя было за что Твороговых уважать, и, забегая вперед, скажем, что в нынешнем Новоленинске нынешние новоленинцы их, в духе времени, уважают, а в местной газете «Новый новоленинец», бывшей «Новоленинской правде» про эту семью была даже напечатана большая статья, которая называлась «Под знаменем православия».

Дело в том, что род Твороговых – один из древнейших священнических родов не только в К-ской области, но, может, и во всей России, уходящий своими корнями в глубь веков – во времена Василия Темного. Уважают сегодня Твороговых за принятые ими смертные муки: в двадцатые и тридцатые годы девять Твороговых были расстреляны, тринадцать обращены в лагерную пыль. Сам о. Серапион пробыл в ГУЛАГе пять лет, и от неминуемой смерти его спасла война – из лагеря отправили его погибать в штрафбат, но всем смертям назло он и там остался жив, вернулся героем и продолжил священническое служение в своем родовом храме, который не только не был разрушен, но каким-то чудом никогда не закрывался...

Впрочем, нет, вру, закрыта церковь была и была даже подготовлена к взрыву – заложена взрывчатка и с ночи оцеплена прилегающая территория, но взрыв не состоялся, потому что в то утро, 22 июня 1941 года, в стране загремели такие взрывы, что этот оказался бы лишним. С тех пор отношение к маленькому старенькому храму у местного партийно-советского руководства оставалось едва ли не мистическим, и когда во времена хрущевских гонений на церковь вновь встал вопрос о «ликвидации культового сооружения, не представляющего культурной ценности», местный первый секретарь райкома, в прошлом фронтовик, махнув рукой, сказал в своем узком кругу: «Ну ее к чёрту, а то опять война начнется!»

История эта в тех местах известна многим, но мало кто знает сегодня, что спасти Успенский храм в селе Старо-успенское начали задолго до великой нашей войны – на другой нашей же, на той «единственной гражданской», когда брат пошел на брата, а сестра на сестру.

История спасения той пряничной, с чуть накренившейся колоколенкой церквушки, выкрашенной в яркие праздничные цвета, с наивными росписями и иконами простодушного деревенского письма, может кому-то показаться чудесной, а кому-то неправдоподобной – да что говорить, если и в самом твороговском роде она по сей день вызывает разногласия и споры.

Как известно еще из советской истории, К-ская губерния после революции была средоточием белогвардейских мятежей, казачьих бунтов и крестьянских восстаний, безжалостно подавляемых частями РККА и отрядами ВЧК. И вольно или невольно, но многочисленные в те времена православные храмы, монастыри и пустыни давали прибежище мятежникам, за что сами объявлялись мятежными, и с настоятелями их, насельниками и отцами-пустынниками красные каратели поступали по законам революционного времени.

Попы не казаки, верхом скакать не умеют, да и некуда им скакать от своих приходов, – сидели за церковной оградой, как куры на насесте, безропотно ожидая расправы. Новая власть не тратила время на выяснение степени вины, расправляясь с лицами духовного звания, как теперь говорят, по определению: «Поп? В расход!»

А руководила процессом знакомая нам безбожная Клара, которую все в округе знали как Армянку, но вслух это прозвище произносить боялись, потому что оно ей не нравилось. Знали, что Армянка – не армянка, а наша, русская, да и внешний вид ее об этом говорил – скуластенькая, востроносенькая, с подстриженными в скобку прямыми светлыми волосами. Таких «армянок» было тогда пруд пруди, но какая, в конце концов, разница, кто тебя в расход пустит – армянка или не армянка?

Тех, кто видел ее вблизи, было немного, все больше слышали, а то, что о ней рассказывали, было воистину страшным.

Рассказывали, например, что в далеком Городце, где-то под Муромом, в одном старинном монастыре она сорок монахов на кол посадила. Впрочем, мы находимся сейчас не в неведомом нам Городце, а в Новоленинске, Староуспенском то есть...

К моменту рассказываемой здесь истории половина К-ского духовенства была постреляна, порубана и сожжена, вторая половина дожидалась своей участи, и в этой скорбной череде первыми были Твороговы.

Их загодя предупредили, что возглавляемый злодейкой отряд ВЧК движется к Староуспенскому, и, сговорившись, все Твороговы – от малых детей до глубоких стариков, человек сорок – собрались в том самом храме Успения Богородицы и заперлись на все засовы, предоставив справедливое решение своей судьбы силам небесным.

Небольшая надежда на спасение была, и давал эту надежду православный люд, который собрался вокруг храма с иконами и хоругвями – чуть ли не все жители Староуспенского, а село было большое. Твороговых там не просто уважали – любили, что и в те благочестивые времена случалось нечасто, а все потому, что местные попы никогда над окрестными крестьянами не возносились, а, как те же крестьяне, сеяли, косили, управлялись со скотиной. Отличались лишь тем, что не пили водку, не сквернословили, никому не делали лиха и, само собой, добросовестно и исправно совершали все церковные службы: крестили, венчали, отпевали и грехи отпускали, за что небезгрешные староуспенцы были им особенно благодарны.

Скажем прямо: называя Твороговых отцами, они видели в них отцов.

Староуспенцы робко надеялись, что им удастся отговорить чекистов от расправы, напирая на полную невиновность батюшек, которые и в самом деле не очень привечали мятежников, объясняя, чем это всем грозит.

Ждали, томилась...

Старухи пели церковное, старики крестились, дети проказничали...

И то и дело все смотрели на дорогу...

А в церкви молились и плакали...

Среди ожидающих своей участи был и отрок Серапион, который хорошо запомнил тот жаркий июньский день и, став уже о. Серапионом, не раз рассказывал эту историю своей семье.

Легкий и подвижный, он влез на колокольню и первым увидел оттуда чекистский отряд примерно в полсотни сабель, с двумя пулеметами и пушечкой, которую с трудом тянула пара серых лошадок. Среди карателей малец высмотрел и женщину, которая ехала одна в повозке. И красный флажок Серапион увидел, отчего стало немного легче, потому что время от времени Армянка устраивала спектакли с переодеванием, точнее, с пристегиванием погон на плечи гимнастеров, и тогда их встречали как своих, а те оказывались чужими и вели себя как чужие, никого уже не щадя.

На окраине села красные отстегнули пушечку, развернули и выстрелили, как показалось Серапиону, прямо в него. Кубарем скатившись с колокольни, он через мгновение оказался в храме не просто в руках своей матери, но буквально у нее под юбкой, о чем не без смущения рассказывал потом о. Серапион. К счастью, выстрел оказался неточным, снаряд разорвался далеко от храма, но православному человеку и этого оказалось достаточно – бросили овцы своих

пастырей, оставляя их на съедение красным волкам, разбежались, побросав от страха в пыль хоругви и иконы.

Да, забыл сказать, дело происходило на Духов день, сразу после Троицы, по всему храму было рассыпано пахучее сено и стояли чуть подвядшие березки, что делало жизнь еще более прекрасной, а смерть еще более нежеланной.

Номинальным главой рода Твороговых был тогда о. Василиск – старый, но бодрый, выведенный епархиальным начальством за штат не столько за старость, сколько за участвовавшие в старости чудачества. Никто не назначал старого своим спасителем, он сам себя таковым назначил. Вытащив Серапиона из-под материнской юбки, о. Василиск быстро его допросил, и тот, как мог, описал увиденное.

– В повозке? Лежит? Может, больная?

– Не знаю, – честно признался мальчишка.

– Эх ты! – Дед даже замахнулся в сердцах, но не ударил, а поскакал к двери вприпрыжку, так как был сухопар, легок и частенько так передвигался. Никто не пытался остановить полумного старика, задумавшего отодвинуть засов, знали, что это бесполезно, к тому же, по правде говоря, все были буквально парализованы страхом.

Красные меж тем подошли к храму и окружили, направив на него пулеметы, но, прежде чем приступить к расправе, решили перекурить. (Дальнейшее Серапион сам видеть уже не мог и о событиях снаружи рассказывал со слов о. Василиска, делая всякий раз поправку на склонность того к старческому вранью и прибавляя свои детские представления.)

Был о. Василиск в белом полотняном подряснике, босой, с двумя клоками седой бороды на щеках, худ, бел и страшно бледен, напоминая только что вставшего из гроба. Увидев старика, красноармейцы засмеялись негромко и напряженно, – большинство их, окончивших церковно-приходские школы, помнили историю того воскрешения.

Смех приободрил о. Василиска.

Отыскав глазами повозку с женщиной, он потрусил туда.

Безбожная Клара была бледна и, видимо, нездорова.

– Вижу, дочь, недугуешь ты! – бодро заявил о. Василиск с ходу, боясь потерять на приветствие драгоценное время или поприветствовать как-нибудь не так.

– Чего-чего? – не поняла она. Вид чудаковатого деда и его поведение вызвали улыбку даже у безжалостной чекистки.

– Недугуешь... – повторил о. Василиск менее уверенно и на всякий случай перевел: – Болееешь, значит...

– Ну болею, тебе-то что? – спросила она, перестав улыбаться.

– Так я это... вылечить тебя могу! – Дед думал, что обрадовал своим заявлением супостатку, но не тут-то было.

– Меня лучшие профессора вылечить не могли, а ты можешь? – насмешливо поинтересовалась она.

– Могу! – махнул рукой дед, чем вызвал смех окруживших повозку красноармейцев.

Здесь придется ненадолго отвлечься от диалога жертвы и палача и объяснить, что причиной выведения о. Василиска за штат и, мягко говоря, снисходительного отношения к нему родни стал открытый им у себя на старости лет лекарский талант. (Достаточно сказать, что сам себя он без ложной скромности называл русским Авиценной и утверждал, что однажды создаст лекарство от всех болезней.) Дед сам собирал травы, варил, смешивал и поил зельем тех, кто еще ни разу его не пробовал. Кому-то становилось лучше, кому-то хуже, хотя и никто не умирал, но после того, как церковный пономарь, лечившийся у дедушки от поноса, среди бела дня стал видеть демонов и с ними сражаться, все решительно отказывались от его медицинской помощи. (И ладно бы травы, а то ведь и летучих мышей засушивал, и птичий помет в ступе растирал старый дуралей!)

– Значит, вылечишь? – спросила девушка насмешливо.

– Вылечу! – с азартом ответил дед.

– А от чего? – задала она неожиданный вопрос.

– Как от чего... – опешил о. Василиск. – От твоего недуга.

– А от какого?

– От какого, ты мне скажешь.

– Нет, это ты мне скажешь, – неожиданно жестко проговорила карательница и прибавила: – А не скажешь, я на все ваше осиное гнездо даже патронов не стану тратить – обложу соломой и подожгу.

Для ее подчиненных подобный поворот событий не был новым, они лишь озабоченно глянули по сторонам, где бы раздобыть соломки на разжижку, а старик еще больше озадачился и струхнул:

– Как же я тебе так сразу скажу... Это ж медицина... Мне тебя общупать надо, обстукать...

Тут наступила неловкая тишина, и здоровенный, на здоровенной же кобыле, матрос с маузером в деревянной кобуре вступился за особу женского пола, пробасив весьма, впрочем, доброжелательно:

– Нашего командира, дедушка, общупывать никому не позволено, а обстукать тебя мы сами можем. Так обстукаем...

– Скажу! – прерывая матроса, с готовностью выкрикнул дед.

– Говори, – раздраженно бросила злодейка и указала подручным на стоящий вдалеке стожок.

Старик замялся.

– Только это... Надо б им отойти, болезнь эта женская, знать ее мужчинам нежелательно...

– Здесь нет мужчин и женщин, дед, здесь все красноармейцы, – все больше раздражалась карательница.

– Кровь у тебя все время текеть! – выкрикнул дед и прибавил потерянно: – Текеть и текеть...

– Откуда?

– Оттуда, – прошептал дед.

В этот самый момент выяснилось, что красноармейцы все же мужчины, потому что слышавшие это смутились и ретировались, а под матросом взбрыкнула его кобыла и отнесла неумелого седока туда, откуда разговора не было слышно. Смутилась и чекистка, но, не обращая ни на кого внимания, обратилась к русскому Авиценне:

– И что, есть у тебя от этой болезни лекарство?

– А то!

– Поможет?

– Еще как!

– Ну, неси его сюда...

Вприпрыжку ускакал о. Василиск и вприпрыжку же скоро вернулся, держа в вытянутых руках бутылочку с маслянистой густо-зеленой жидкостью. О чем они там еще говорили, неизвестно, но, по всей вероятности, о том, как лекарство принимать, и напоследок карательница пообещала:

– Ну гляди, дед, через две недели я вернусь, и если твое лекарство не поможет, пожалееете, что я вас сегодня живьем не сожгла! А с тебя, старик, живого шкуру сниму, набью соломой и отвезу в Москву в музей атеизма.

– А разве есть такой? – вновь озадачился дед.

– Будет, – пообещала чекистка.

«Ну, пока будет», – с некоторым облегчением подумал старик.

Когда красные ушли, Твороговы высыпали из храма, плача и благодарно целуя своему спасителю руки, но, узнав, что расправа не отменена, а только отложена и будет еще более суровой, так как о. Василиск дал карательнице то же самое лекарство, которым лечил страдавшего поносом пономаря, сменили благодарность на возмущение и упреки:

– Что же ты, старый, не мог ей то, какое надо снадобье дать?!

– Где ж я его возьму? Для него жабье молочко нужно, а жаба в июне не доится, – обиженно огрызнулся дед.

До сих пор неизвестно доподлинно, помогло ли чекистке лекарство, но факт остается фактом – каратели в Старо-успенское не вернулись. Говорили, что где-то напали на них прячущиеся в плавнях казаки и изрядно карательный отряд потрепали, то есть сразу было не до Твороговых, а потом, в череде карательных расправ, она просто о них забыла. Но советская власть не забыла никого: из всех ожидавших в храме насильственной смерти мужчин своей смертью на свободе умерли только двое: дед Василиск, который в конце концов изготовил лекарство от всех болезней и на себе его испробовал, да нахлебавшийся вонючей лагерной баланды и жидких штрафбатовских шей отрок Серапион, ставший о. Серапионом.

В такой вот, согласитесь, необычной семье родился один из героев нашей истории, чье имя стоит в начале этой главы.

Необычным был не только преклонный возраст матери и отца Серафима, но и то, а точнее, это – отчего рождаются дети, это, наверное, было, не могло не быть, но как будто не было... Все дело в том, что батюшка с матушкой спали порознь, и в отношениях их давно отсутствовала, так сказать, плотская составляющая. Поговаривали даже о тайном монашеском постриге, что в безбожные времена в подобных семьях практиковалось для сохранения института монашества, и вдруг такой конфуз...

Полненькая, кругленькая, с ямочками на щеках и на локтях, матушка Неонила еще больше начала вдруг полнеть и округляться, над чем все дружно посмеивались, а сама она – так первая. Смеяться матушка перестала за три месяца до разрешения от неожиданного бремени и тогда же исповедовалась о. Серапиону. Тот ее исповедовал и причастил, но три месяца потом не разговаривал – до того самого момента, когда встретил ее с ребенком на руках у роддома неприятливым взглядом и словами: «Ну, здравствуй, мать».

Никто из взрослых детей не мог представить, когда и как могло случиться то, что случилось, да, верно, и нехорошо подобное про своих батюшку и матушку представлять. Правда, был один подозрительный случай, когда однажды за обедом батюшка вспомнил о припасенной на зиму баночке белых груздей, которая стояла в кладовке на верхней полке. Матушка про нее тоже не забывала, но позволила себе уточнить, что грибы стоят не на верхней полке, а на нижней. Спорить с о. Серапионом было не принято, но тут на матушку будто что-то нашло – на нижней, и всё! Дети уже хотели бежать в кладовку, чтобы принести банку и сказать, на какой полке она там стояла, но батюшка остановил: «Своими силами конфликт разрешим», и матушка подтвердила: «Своими». И ушли, и отсутствовали довольно долго, а вернулись сконфуженные и без банки грибов, которая, как они сказали, разбилась, когда они ее с полки снимали.

– На какой же она стояла? – поинтересовались дети.

– На средней, – подумав, ответил о. Серапион, и матушка Неонила смущенно подтвердила:

– На средней, прости, Господи...

Неожиданным и нежеланным был тот поздний ребенок, и хотя маленького любить положено, и его несомненно любили, но какой-то особенной, если можно так выразиться, конфузливой любовью.

Единственный в семье, где все парни были в отца – мосластые и сухощавые, Серафим пошел в мать – полненький, кругленький, с ямочками на щечках и локоточках. Всем своим видом малыш словно доказывал, что батюшка к его рождению отношения не имеет, но это не помогало ему в отношениях с отцом – о. Серапион не открывал своего сердца сыну и до самой смерти был не только скуп на ласку, на которую со всеми своими детьми был скуп, но просто-таки отчужденно-суров. (Матушка же Неонила души в последыше не чаяла и с коленей своих не спускала, даже когда тот был уже едва ли не больше ее.)

В завершение истории несчастливого детства о. Мардария расскажем о таинственном «нат», которое тот пристегивает в своей речи чуть не к каждому слову. Для всех, кто знал, любил, да, верно, и сейчас любит о. Мардария, казалось и, может быть, продолжает казаться, что за этим его «нат» скрывается какая-то тайна, быть может, здесь замешана таинственная грузинская красавица Ната, которую о. Мардарий однажды полюбил, но она не ответила взаимностью? Кстати, все три наших сестры в своих частных обсуждениях данной фигуры речи о. Мардария склонялись именно к этому, романтическому варианту, не решаясь спросить его об этом напрямую.

А зря!

Он бы наверняка рассказал, как всегда весело, до слез над собой смеясь. Но не спросили, и не рассказал, поэтому придется это делать нам, для чего вновь будем вынуждены окунуться в историю, ныряя в глубь веков.

Повторим, род Твороговых – род древний поповский, в котором последние триста лет по мужской линии никого, кроме попов и монахов, не было. Если рождался мальчик, он становился попом, если девочка, то ее отдавали за попа, и она делалась попадшей, не обретшие же свою вторую половину уходили, как правило, в монастыри, мужские и женские.

Бывали ли исключения?

Да, бывали.

Самочинные семейные историки называли три периода, когда попытки оторваться от рода случались особенно часто.

Первый – петровские реформы, второй – отмена крепостного права и третий, вопреки ожиданиям, не октябрьская революция, а февральская – прекраснордушно обжегшись на феврале, Твороговы встретили великий октябрь крайне неприязненно и без малейших иллюзий. Исключения не просто подтверждали правило, они еще больше укореняли его, укрепляли, превращая чуть ли не в физический закон.

Семейное предание гласило, что с теми, кто пытался данный закон нарушить, случались крупные неприятности.

Был якобы некий Ивашка Творогов, которого Петр I послал за границу учиться естественным наукам, но он объелся в дороге соленой трески и обпился воды, да так, что сам пополам треснул.

Или Ванька Творогов, решивший стать не попом, а плотником и убитый своим же топором, который на него сверху свалился.

Был еще Творогов Иван – курил в постели папиросы и сторел заживо. Были и другие, не менее страшные и поучительные истории.

Укрепляя главный закон семьи, старшие Твороговы часто рассказывали их своим чадам: про Ивашку – малышам, про Ваньку – отрокам, а про Ивана – юношам.

Девочкам, независимо от возраста, рассказывали историю Ираиды Твороговой, которая сбежала с проезжими артистами, сама стала артисткой и упала во время очередной оперетки в оркестровую яму, сломала себе шею, отчего сделалась скособоченной и была уже никому не нужна.

Разумеется, истории эти могли испугать только Твороговых детей, повзрослев, они не боялись ни Ивашку, ни Ваньку, ни даже Ивана, но был еще один их родственник, не мифи-

ческий уже, а реальный, живущий в Москве, при упоминании о котором Твороговы горько усмехались и, заговорив, тут же умолкали. Хотя запрета на имя этого человека в семье Твороговых не было, да и как запретишь, если человек тот был в среде духовенства известный, в миру популярный – не кто-нибудь, а сам епископ Иоанн (Недотрогов). Твороговы не считали его своим родственником, да и сам он на таком родстве не настаивал.

И в самом деле, родство можно обнаружить в созвучии внешне противоположных фамилий, если согласиться, что Недотроговы происходили из того же древнего, уходящего в глубь веков рода Твороговых, но под влиянием внешних обстоятельств сделались сперва Недотроговыми, а потом, уже в новые времена под влиянием новых внешних обстоятельств – Недотроговыми.

Впрочем, это всё догадки.

Семья о. Серапиона и знать не знала, и думать не думала о какой-то где-то своей родне, но однажды, в самом начале семидесятых прошлого уже века, если точно – весной семьдесят первого года, на пороге тороговского убогого жилища возник красивый хорошо одетый молодой человек с кожаной дорожной сумкой в руке – и громко и даже торжественно поприветствовал сидящих за обеденным столом Твороговых редким в те времена приветствием:

– Мир вашему дому!

О. Серапион чуть не подавился от неожиданности, а таинственный гость, выдержав паузу, прочувствованно произнес еще более редкое пожелание, так сказать, православное «Приятного аппетита»:

– Ангела за трапезой!

Что и говорить – семидесятые не тридцатые, за такое пожелание уже не посадили бы, но на заметку взять могли, и о. Серапион все-таки подавился и закашлялся, и кашлял до тех пор, пока матушка Неонила, получив безмолвное, одним глазом благословение, не треснула его по широкой спине двумя своими пухлыми кулачками.

Гостя звали Алексей, ему было двадцать два года, он был москвич, долго жил за границей, в совершенстве знал английский и греческий, учился в духовной семинарии, после чего собирался поступать в академию и принимать монашеский постриг. Надо ли говорить, как обрадовалась бедная провинциальная поповская семья такому неожиданному родству: семинарист, красавец, умница, москвич, хотя, как утверждал потом о. Серапион: «Он сразу мне не понравился».

Это было неправдой.

Алексей вызывал симпатию, но легко объяснимая подозрительность старого политзэка ко всем входящим в дом незнакомцам требовала проверки, и, надо сказать, гость выдержал проверку на отлично, не только проявив великолепные знания Священного писания и церковной истории, но и безупречно сослужил о. Серапиону на воскресной литургии в качестве алтарника.

Москвич привез провинциалам подарки: о. Серапиону – теплый мохеровый шарф с серебряной нитью, матушке Неониле – японский шелковый платок с русским узором, и всем – сервелат, шпроты в масле, зефир в шоколаде и самый настоящий ананас, который тороговские дети не только еще не ели, но даже и не видели.

Гость прогостил у Твороговых с неделю. Дети-мальчики были в восторге от брата Алеши, девочки тайно в него влюбились, матушка Неонила потчевала без конца немудрящими своими разносолами, о. Серапион поглядывал с приветливым изучающим прищуром.

– Ну, как там у вас в Москве? – задавал он гостю один и тот же вопрос за вечерним чаем, и начинались разговоры, которых все ждали.

В Москве, как и во всем бескрайнем СССР, был расцвет застоя, но, как сказал красивый и благоразумный юноша: «Они еще испытают в нас потребность, они нас еще призовут», под «они» подразумевая власть. Слыша эти слова и зная нашу сегодняшнюю историю, можно

было бы говорить если не о пророческом даре, то о редкой прозорливости молодого человека, на самом же деле это были слова его отца, довольно крупного работника советского торгпредства в западных странах. Сам поповский сын, он не только не препятствовал, чтобы сын его стал попом, но всячески этому способствовал. В системе советских ценностей практически преступный выбор сына не повлиял на карьеру отца, и это может показаться странным и даже подозрительным, но каких только не бывает в жизни чудес. В конце концов, избавление нашей страны от коммунистического ига тоже произошло вопреки всему, и многие, в том числе и автор этих строк, воспринимают это как чудо.

Короче, брат Алеша, как его называли в твороговском доме, готовился делать карьеру, и не просто карьеру, а духовную карьеру.

У родившихся в СССР, воспитанных на примерах великой русской литературы, где все вышло из гоголевской шинели (Акакий Акакиевич о карьере не мечтал, он мечтал о шинели), слово это – карьера – вызывает негативное восприятие, а карьерист является для них чуть ли не синонимом предателя, что, по-моему, не совсем правильно. В самом деле, если не будет в хорошем смысле карьеристов – специалистов, ищущих занятие и должность себе по плечу, будут карьеристы в их классическом русском понимании – выскочки, временщики, не по чину начальники, сколько мы от них натерпелись, да и сейчас продолжаем терпеть.

Поняв, что перед ним карьерист, о. Серапион поначалу напрягся, но, подумав, как я сейчас, успокоился.

Тень на мирный твороговский плетень в отношениях их со своим названным родственником неожиданно-негаданно навели инопланетяне, гуманоиды, а если уж совсем точно – марсиане.

В списке запрещенной по умолчанию литературы в твороговском доме была «Аэлита» Алексея Толстого, и надо же – именно эту книгу стал однажды читать детям вслух Алексей. О. Серапион услышал, не понял, что это, спросил, переспросил и потребовал прекратить чтение, после чего состоялся диспут, более напоминающий межзвездные войны. Вопрос-анекдот «есть ли жизнь на Марсе?» в устах дискутирующих православных принимал богословско-гамлетовский характер. О. Серапион утверждал, что для церкви это не может быть вопросом, ибо положительный на него ответ разрушает всю религиозную систему мироздания, карьерист-семинарист же настаивал, что нет и не может быть тем запретных, а картину мира можно и подкорректировать, что в церкви неоднократно уже практиковалось. Твороговские дети были на стороне брата Алеши, матушка же Неонила, всячески симпатизируя знатному и обеспеченному московскому родственнику, хмуря брови, безмолвно отстаивала доводы супруга.

Тень на плетне привела к новой цензуре в твороговском семействе, теперь во время вечерних чаепитий матушка Неонила выводила детей во двор, оставляя хозяина и гостя за закрытыми дверями, потому что, как сказал батюшка, муж и отец: «Наши разговоры не для детских ушек, да и не для женских тоже».

Правда, кое-что услышать удалось...

Слово «департамент», например, – его, старинное, ныне малоупотребляемое, не раз произносили хозяин и гость, причем с очень разными интонациями: гость – с торжественной и деловитой, хозяин – с осуждающей.

Москвич говорил, что в церковную жизнь надо вдохнуть свежую струю, по-новому жить и по-новому служить. Услышав про свежую струю, о. Серапион пожал плечами, мол, мы тут на духоту не жалуемся, жить по-новому отказался, сославшись на свой преклонный возраст, и тут же прямо спросил, что значит по-новому служить, уж не изменения ли в богослужении, наподобие тех, что в свое время обновленцы предлагали или католики не так давно у себя уделали? Семинарист успокоил старого попа, сказав, что об этом речь не идет, но чтобы окончательно не обезлюдет, русская православная церковь должна быть открыта миру.

– Какому миру? – поинтересовался старый священник.

– Миру... – строго, но уклончиво повторил юноша.

- Сему? – грозно хмурясь и морщась, как при изжоге, предложил уточнить о. Серапион.
- Всему, – окончательно ушел от ответа Алексей.

Всего состоялось три разговора за закрытыми дверями, во время которых матушка Неонила чинно сидела с детьми на скамеечке под окнами дома, держа ушки на макушке, так при этом напрягаясь, что даже забывала здороваться с проходящими мимо соседями. Первый разговор был мирный, второй – нервный, третий – катастрофический.

– Пошел вон из моего дома, шенок! – закричал вдруг о. Серапион, а через пару минут на пороге появился Алексей с дорожной сумкой. Он был бледен, но при этом улыбался.

Оставив испуганных детей и не обращая внимания на заинтересованных соседей, матушка Неонила кинулась в эпицентр конфликта, пытаясь успокоить супруга, а гостя уговорить остаться или хотя бы задержаться, чтобы забрать приготовленные гостинцы, но все было бесполезно.

– Езжай, езжай в свой департамент! – кричал о. Серапион, который за всю свою жизнь, кажется, никогда так не кричал.

Гость сердито усмехался и бросал через плечо:

– Погодите, вы еще будете в том департаменте работать!

– Ты мне только скажи, что это за департамент такой? – осторожно спросила супруга матушка Неонила, когда буря в его душе немного улеглась.

– Департамент веры, – буркнул о. Серапион.

– А разве есть такой? – опешила матушка.

– Слава Богу, нет пока. – О. Серапион вздохнул и проговорил горестно: – Эх, знала бы ты, мать, что он мне предложил...

– Что?

– Ничего. Я же сказал: ничего не спрашивай.

Ничего не спрашивала больше матушка Неонила, стараясь забыть о незваном госте, но тот департамент пригодился ей неожиданно, когда страшилки про Ивашку и прочих перестали срабатывать на взрослеющих детях. Теперь пугали о. Иоанном и его несуществующим пока департаментом.

Алексей же стал о. Иоанном, приняв монашество сразу после семинарии и поступив в академию. Его карьерный рост был стремителен: спустя несколько лет он уехал за границу, откуда вернулся уже епископом.

Епископ... Другие гордились бы таким знакомством, Твороговы же о нем не только не упоминали, но и старались забыть.

Впрочем, мы отвлеклись, чуть не забыв о герое этой главы...

Несмотря на свою древность и верность вере, Твороговы не хватали с неба звезд, митры на их убеленные сединами головы сверху не падали. Как начинал кто дьяконить, так и дьяконил, пока жизненные силы окончательно не оставляли. Иереи – да, протоиереи – тоже, а вот архиереев Твороговых не было и не намечалось.

Вы скажете, может, они этого не хотели?

Да, конечно, хотели, ибо как плох солдат, не мечтающий стать генералом, так и не надеющийся на повышение в чине иереев тоже либо имеет в себе какой-то изъян, либо унижается паче гордости.

Зная все это, можно было представить восторг матушки Неонины, когда годовалый Серафимушка произнес наконец свое первое слово и слово это было АРХИЕРЕЙ! Причем произнесено оно было громко и отчетливо, особенно буква «р». Схватив ребенка на руки, матушка прибежала с ним к батюшке, поставила Серафима на табурет и попросила повторить сказанное. Малыш не заставил себя уговаривать:

– Архиерей!

Пожалуй, то был единственный случай, когда во взгляде отца на своего последыша появились теплота и надежда, в его глазах можно было в тот момент прочесть: «Неужели ты?»

Буквально на следующий день надежда была подкреплена.

– Митра! – выкрикнул ребенок.

О. Серапион взял сына на руки и прижал к себе.

Однако третьим оказалось слово, всех озадачившее и даже разочаровавшее:

– Трактор.

О. Серапион прямо тогда спросил матушку Неонилу:

– При чем здесь трактор?

А четвертое произнесенное малышом слово приказало оставить даже малейшую надежду на будущее архиерейство Серафима, так как слово то было – «революция».

Вскоре стало ясно – ребенок бездумно повторяет услышанные слова, но только те, в каких есть буква «р», произносить которую ему, видимо, нравилось. О. Серапион махнул на отпрыска рукой, сказав, что хорошо, если тот выбьется в дьяконы, скорее же всего, пропономарит до конца своего жизненного срока.

Материнская любовь от этой очевидности не умалилась, матушка не спускала ребеночка с рук, используя каждую свободную минуту, чтобы тискать его и целовать.

Не имея возможности держать корову, так как налог на нее был неподъемен, Твороговы держали в сараюшке козу, на козьем молоке и выросли все дети, любил его и маленький Серафим. И вот однажды матушка Неонила доила козу, любимец же ее был, как водится, рядом. Как бы комментируя процесс, матушка громко и отчетливо говорила, в надежде, что Серафимушка какое-то слово повторит:

– Козичка... – в тех местах и сейчас так называют коз, – дает... нам... молоко. – После каждого слова она делала паузу, ожидая, что сыночек это слово повторит. Но тот молчал, потому что там не было его любимой буквы «р». Неонила никак не могла такое слово подобрать и вдруг вспомнила:

– Натуральное!

У Серафима загорелся глаз, и, мгновенно став значительным и важным почти как архиерей, он заговорил:

– Нат...

Только этот первый слог успел произнести малыш, когда ни с того ни с сего коза вдруг сделала в его сторону выпад, опрокидывая плошку с молоком и сидящую на низенькой скамеечке матушку. Серафим почувствовал угрозу, повернулся и побежал, на бегу пытаясь договорить:

– Нат... нат... нат...

И после каждого «нат» бедный ребенок получал под попку рогами, и это могло неизвестно чем кончиться, если бы матушка не вскочила и в падении не ухватила окаянное животное за задние копыта.

А Серафим замолчал, и молчание его длилось три года.

Чего только не делала матушка Неонила, чтобы сыночек вновь заговорил: обращалась к врачам, втайне от мужа носила его к знахарке и, конечно, молилась, молилась, молилась, по полночи простаивая у иконы целителя Пантелеймона. На четвертый год уже шестилетний Серафим сказал первое слово, но это было знакомое нам ничего не означающее «нат». А дальше пошло: дом-нат, собака-нат, даже икона-нат.

Так сбылись слова о. Серапиона, который, услышав из уст своего чада слово «революция» сказал: «Не то что архи, но и простым иереем тебе никогда не быть». И в самом деле, трудно представить священника, который обратился бы на проповеди к своей пастве: «Братья и сестры-нат».

Конфуз, да и только!

Самым неожиданным образом дорогой наш конфуз проявился в школе на уроках письма. Маленький Серафим писал чисто и красиво, но почему-то исключал из слов гласные. Так писали в древности на многих языках, в том числе и у нас на Руси, кажется, и на возрожденном иврите евреи так сейчас пишут. Но то древняя Русь, а то Советский Союз, то иврит, а то русский язык. Ну разве можно принять, что вместо «мама» написано «мм», вместо «рама» – «рм», а вместо «Октябрьская революция» – абракадабра из одних согласных?! Боролись с малышом и в школе, и дома, до третьего класса боролись и побороли-таки, дожали, стал Серафимушка писать, как все. Правда, гласные были в два раза меньше согласных, так что почерк образовался очень своеобразный, – письмо дожали, а речь так и не смогли, и неизбывное «нат» осталось, перейдя по прямой от Серафима к о. Мардарию.

Но, удивительное дело, на церковнославянском о. Мардарий говорил чисто и, ведя дьяконскую часть службы, никаких «нат» не допускал. И если бы ему пришлось кого убеждать в правдивости своих слов, то на современном русском это звучало бы примерно так:

– Честное слово-нат! Не вру-нат!

А перейдя на церковнославянский, он проговорил бы чисто и красиво:

– Несть лести во языке моем.

Получалось, о. Мардарий знал два языка, и оба русские, но один окружающими принимался, а другой нет, навязчивое «нат» исчезало, если вдруг он заговаривал на церковнославянском.

– Аще дам сон очима моима и веждама моима дремаши.

И, обнаружив непонимание и даже раздражение в глазах собеседников, немедленно переводил:

– Спать охота-нат, – и в подтверждение зевал.

...и его трудное отрочество

В те не такие уж далекие, но стремительно отдаляющиеся от нас годы детство было по определению счастливым.

Но, как видим, не всякое.

В ПГТ Новоленинское семья Твороговых была самой бедной, если не считать последних забулдыг.

То была даже не бедность, а самая настоящая нищета, и если бы не приношения старушек-прихожанок на канон в виде буханки хлеба, кулька макарон или брикета киселя, то твороговские дети с голоду могли начать умирать, и, случись это, никто во всем Новоленинском палец о палец не ударил бы, чтобы их спасти, а факт смерти, скорее всего, использовали бы в качестве атеистической пропаганды, напечатав в газете «Новоленинская правда» статью под заголовком: «Поп-изувер заморил голодом собственных детей».

Страх Божий, это обязательное чувство православного христианина, которое многим приходится в себе культивировать, было всегдашним и всамделишным чувством семьи Твороговых.

Да и как не бояться Бога, который попускал им такие испытания?

Твороговы боялись фининспектора Зильбермана, обкладывавшего их таким налогом, что иной раз матушка Неонила не могла найти лоскутка ткани, чтобы починить прохудившиеся детские штанишки. Боялись начальника милиции Угловатого, готового из любой детской шалости состряпать дело и отправить «попят» в колонию для малолетних преступников, потому мальчики Твороговы по улице по одному не ходили, чтобы кто безнаказанно не задрался, девочки же не ходили без братьев, чтобы кто, не боясь наказания, зажав в уголок, их не пощупал. Боялись завотделом пропаганды райкома партии Поломошнову, которая ходила на Пасху вокруг их дома и высматривала, не валяется ли где крашенная яичная скорлупа, и если ее находила, врывалась к Твороговым в пресветлый день и, брызгая слюной, кричала: «Дома красьте и жрите свои яйца, а на Советской улице не сметь!» (Твороговы жили на Советской.) Боялись известного местного сексота Крайко, и хотя почетный стукач находился на заслуженном отдыхе, он частенько простаивал во дворе напротив твороговских окон, поглядывая на них и делая какие-то записи в блокноте, боялись соседа по уплотнению по прозвищу Четвертинка, у которого, как все говорили, была «справка» и который кричал, напившись: «Я вашу чертову церковь сожгу к чертовой матери, и мне ни черта не будет!»

Соседей по уплотнению было несколько семей, они занимали большую часть бывшего твороговского дома, когда-то красивого и ухоженного, а теперь серого, убогого, с множеством выгородок и пристроек, и не надо здесь объяснять, как «уплотнители» относились к бывшим хозяевам дома, ютящимся в двух последних комнатках.

Все эти страхи были, так сказать, очевидные, но существовали и другие, недоступные и непонятные непосвященным.

Девицы Твороговы, например, страшно боялись, что не выйдут замуж, так как выйти они могли только за своих, православных, поповских, а ближайший приход находился в трехстах километрах отсюда, и у тамошних батюшки и матушки было шестеро детей, но все девицы.

Как кукушки, эти таинственные птицы, в поисках своей половины в одиночку прилетающие из Африки в Европу, как еще более таинственная рыба-угорь, собирающаяся со всех морей и океанов в единственное Саргассово море, чтобы там найти своих и продолжить род, так и поповские семьи, рассеянные на одной шестой части суши, прореженные советской властью до предела – выведывали, списывались, съезжались, чтобы узнать: а нет ли у вас жениха? а нет ли у вас невесты? И если был (была) – не выбирали и не раздумывали, скоренько бла-

гословлялись у родителей, стоя перед ними на коленях с образами Спасителя и Богородицы, венчались тихо и жили мирно, рожая чуть не каждый год по ребеночку.

Были ли они счастливы?

В сладких тяготах служения, в бесчисленных и бесконечных бытовых заботах праздный этот вопрос никем не ставился, может, потому и разводов не отмечалось.

Так и вели они свою полузаметную, полузапретную, полусекретную жизнь – сумеречные люди, не признающие красных дней календаря, напрочь отрицающие праздников праздник всех советских людей – Новый год.

О, этот Новый год, когда в Новоленинском на площади Ленина стояла огромная нарядно украшенная елка с разноцветными гирляндами лампочек, из динамиков звучала эстрадная музыка, а по улицам расхаживала веселая молодежь, – Твороговы же в это время постились Рождественским постом, зябли в плохо протопленных комнатках, утомленно молились, стараясь не видеть, не слышать, не замечать царящего вокруг веселья.

Малые и большие страхи каждого сливались в общий твороговский страх, когда в новогоднюю ночь по радио передавали поздравление Советского правительства и в нем каждый раз звучали слова: «мир и безопасность»¹.

Тогда о. Серапион бледнел, матушка Неонила плакала, а дети бухались на колени перед иконами и испуганно напоминали Богу:

– Господи, нам же школу нужно закончить!

Страхи маленького Серафима равнялись всем тороговским страхам, помноженным на десять. Когда он пошел в школу, из старших братьев там уже никто не учился и некому было защищать толстого попенка со всеми его странностями. Например, он не выходил к доске, не перекрестившись, и как ни боролись учителя и ученики, ничего с этим поделывать не могли. А если прибавить к этому оставшийся на всю жизнь животный страх перед зверем по имени коза, то остается только удивляться, как о. Мардарий в свои детские годы не разучился смеяться, а делал это часто и охотно.

Почти всё для детей Твороговых было в их семье проблемой, почти на всякое их действие требовалось родительское благословение. Даже чтобы рассказать братьям и сестрам случившуюся в классе забавную историю или невинный детский анекдот, прежде должно было получить высокое разрешение, и вот как это происходило.

Приходит, допустим, кто из школы домой и его буквально распирает сегодняшнее происшествие в классе, история рвется наружу так, что он места себе не находит. (Происходило это еще и потому, что в посты и постные дни рассказывать подобные истории запрещалось категорически, а не стоит забывать, что таких дней в православном календаре больше двухсот сорока.) И вот он, бедняга, подходит к своему родному отцу и одновременно к отцу духовному – о. Серапиону и просит дрожащим от волнения голосом:

– Благословите, батюшка, веселую историю рассказать.

До последнего дня тороговские дети были с родителями на «вы», а слово «анекдот» в числе многих других находилось под запретом, вместо него применялось понятное и безвинное словосочетание – веселая история.

– Выдуманная или невыдуманная? – хмуро спрашивал о. Серапион, который в принципе не любил подобные обращения, не находя во всех этих историях благочестивого смысла.

– Невыдуманная! – всегда обещал проситель, так как невыдуманная, быть, имела больше шансов пройти родительскую цензуру – все выдуманное изначально вызывало подозрения.

О. Серапион недовольно хмыкал и молча тыкал указательным пальцем в свое большое войлочное ухо. От волнения рассказчик хватал ртом воздух, вставлял мордочку в родитель-

¹ «Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Первое послание Павла Фессалоникийцам. – *Примеч. авт.*

скую ушную раковину и, морщась от щекочущих волос, рассказывал свою невыдуманную историю. В это время на почтительном, чтобы ненароком не услышать, расстоянии стояли в ожидании остальные маленькие Твороговы, напряженно вглядываясь в батюшкино лицо, считывая его сдержанные эмоции и слабо надеясь на положительное решение. Они знали: если левая батюшкина бровь, а затем и правая начинают подламываться, как перегруженный мосток, – надежды нет, последует запрет, и запрет непременно следовал. Если же правая, а затем левая брови начинают громоздиться вверх домиком, то надежда есть, и чем острее у домика крыша, тем надежда больше. (Наверное, со стороны это забавно выглядело: восемь отроков и отроковиц не сводят глаз со своего отца, невольно повторяя его мимику: у батюшки бровь провалилась – и у них у всех проваливается, у батюшки бровь взгромоздилась – и у них точь-в-точь то же самое.)

Да, надо все-таки назвать всех твороговских детей по именам в том порядке, в каком они на свет появились: Василий, Аграфена, Николай летний, Савва, зимний Николай, Вера, Надежда, Фекла и, наконец, Серафим. И если разрешение было получено, и рассказчика благословляли на его рассказ все, включая матушку Неонилу, обращали на него свой нетерпеливый голодный до веселого взор. Смеяться начинали, когда еще не было произнесено первое слово, но как же смеялись по окончании любой веселой истории, и всё смеялись и смеялись, как бы не желая ее от себя отпустить.

В защиту о. Серапиона надо сказать, что он не был ни букой, ни злокой, сам любил посмеяться, а о матушке Неониле и говорить нечего – первая была в Новоленинском хохотушка, но – память о расстрелянной и изведенной в ГУЛАГе твороговской родне, как о. Серапион считал, не давала им права бездумно веселиться. Именно поэтому по детской беспристрастной статистике на одно батюшкино благословение приходилось два – два с половиной запрета. А после запрета наблюдалась совсем другая картина. Надежда услышать веселую невыдуманную историю сгорала, опаяла холодным огнем лица и остужая души, и все молча расходились по своим углам.

Это – слушатели.

Но каково же было несостоявшемуся рассказчику!

Веселая невыдуманная история билась в нем, как бьется в силках яркая голосистая птица, стремясь вырваться на волю, чтобы радовать мир своим пением и оперением, – несчастный выбегал во двор, где в сараюшке жил твороговский гончий пес, и, обхватив руками его каменную, пахнущую псиной башку, рассказывал, рассказывал, рассказывал ему свою веселую историю, не надеясь уже услышать в конце счастливый благодарный смех.

Это что касается отроков Твороговых, что же до отроковиц, то их положение было еще более непростым, ведь перед отцовской мужской цензурой им приходилось пройти цензуру материнскую, женскую – матушка Неонила решала, какие слова могут вылететь из девичьих уст и какие вправе влететь в юношеские уши. Впрочем, матушкина цензура всегда оказывалась значительно мягче батюшкиной, нередко разрешение следовало после первых слов истории или после перечисления ее героев. Поэтому тут нередко возникали спорные ситуации: матушка разрешала, а батюшка нет, но последнее слово, конечно, оставалось за о. Серапионом.

Как уже говорилось, Серафим оказался оторванным от старших годами, что также несло в себе холодность отношения к нему братьев и сестер, не говоря уже о том влиянии, которое имел на всех отец. Исключением была лишь Фекла, самая близкая Серафиму не только по возрасту, но и по характеру, и как только у матушки Неонилы случалась нужда спустить любимца со своих коленей, он тут же оказывался на коленях этой своей сестрички. И с веселыми невыдуманными историями у Серафима складывалось все гораздо хуже, чем у братьев и сестер.

Придя в первом классе из школы, он пожелал таковую историю всем рассказать, а так как до четвертого класса мальчик в семье Твороговых приравнивался к девочкам и даже ходил вместе с матерью и сестрами в баню, то первой услышала ее матушка Неонила. История была

очень короткая, всего-то в три слова, но, услышав ее, матушка бухнулась на пол без чувств. О. Серапион побрызгал на супругу святой водой, дал валерьяновых капель и сурово обратился к начинающему рассказчику веселых невыдуманных историй с предложением повторить ему то, что вызвало у матушки обморок. Ничтоже сумняшеся, Серафим повторил три тех самых слова батюшке, после чего о. Серапион развернул рассказчика к себе спиной и решительно приложился родительской коленкой к мягкому месту пониже спины бедного Серафимушки, так что тот полетел, будто хорошо накачанный футбольный мяч, к счастью, вылетев не в аут, а угодив в несмотря ни на что любящую свою мамочку, которая его удержала, как вратарь, и прижала к себе.

После этого случая последовал строжайший запрет, касающийся исключительно Серафима, – в ближайшие три года он не имел права рассказывать в семье свои истории, буде они невыдуманные, а тем паче – выдуманные.

Но что же такое сказал безвинный Серафим, что лишило матушку чувств и заставило батюшку нанести ребенку безжалостный удар?

Пересказать это решительно невозможно, а вот в записи история просто-таки невинна, и не расскажи он ее тогда родителям, а подай записочкой, пожалуй, и не поняли бы ничего батюшка с матушкой. Фраза делается похабной в устной речи, на это и рассчитывал твороговский идейный враг – учитель физкультуры Врагов, намеренно научая несмышлениша.

Итак:

Под столом трусы и бутсы.

Прочтите эти слова вслух, и вы всё поймете.

Поняли?

Ну вот...

И в дальнейшем у Серафима было все не так, как у его братьев. Если бы на кого из них подобный запрет был наложен, то, без сомнения, никто не решился бы его нарушать. Но, мятежная душа, будущий о. Мардарий был не таков. Вынужденное свое молчание он хранил не три, а всего лишь два года. Молчание то было воистину мученическим. Сколько раз он сиживал у собачьей конуры, рассказывая свои веселые выдуманные и невыдуманные истории Заливаю, а тот махал приветливо хвостом, радуясь общению и думая при этом: «Было бы совсем хорошо, если бы ты мне еще пожрать принес».

Но, учась уже в третьем классе, рано повзрослевший от невзгод Серафим пришел однажды из школы и с очень серьезным, трагическим даже видом предъявил родителям ультиматум:

– Матушка-нат и батюшка-нат, если вы-нат и все здесь-нат сейчас-нат не выслушаете-нат мою веселую историю-нат, то я-нат умру-нат, но не понарошку-нат, а по-настоящему-нат и буду-нат потом-нат в маленьком гробике-нат среди бумажных цветочков лежать-нат, а вы, батюшка-нат, будете меня отпевать-нат, а вы, матушка-нат, горько плакать-нат!

Слова эти были настолько неожиданными, что о. Серапион, глянув на побледневшую супругу, тут же дал свое разрешение безо всякой предварительной цензуры, не поинтересовавшись даже, выдуманная та история или невыдуманная.

– Ну что ж, Серафим, рассказывай, – глухо проговорил он, напрягаясь вместе с остальными слушателями.

И Серафим стал рассказывать.

– Стоит на полянке ежик-нат, стоит и прыгает-нат, и смеется-нат, – волнуясь до видимой телесной дрожи, заговорил мальчик. – Прыгает и смеется-нат, прыгает и смеется-нат, прыгает и смеется-нат... – В этом месте Серафима заело, и он повторил «прыгает и смеется» еще раз пять, пока самый старший брат его не прервал.

– Ну всё уже, напрыгался...

– Нет, не всё-нат, не напрыгался-нат! – упрямо не согласился младшенький и заставил бедного ежика еще немного попрыгать и посмеяться, после чего перешел к новому персонажу своей истории.

– А навстречу ему лось-нат.

– Кто? – не понял о. Серапион.

– Лось-нат, – наморщил лоб Серафим, недовольный тем, что его перебивают.

– Кто-кто? – все еще не понимал батюшка.

– Да лось же, господи! – воскликнула в сердцах матушка Неонила и даже махнула рукой на хозяина своей жизни.

– А, лось! – поняв наконец, кивнул о. Серапион, ввиду важности момента не обратив внимания на недопустимое поведение своей супруги.

– Лось спрашивает ежика-нат: «Ты чего смеешься-нат?» А ежик отвечает-нат: «Ты попрыгай, как я-нат, тоже будешь смеяться-нат».

В этом месте матушка прыснула в кулак и все, даже батюшка, заулыбались.

– Лось-нат прыгает-нат, прыгает-нат, прыгает-нат и все не смеется-нат. Остановился-нат, смотрит на ежика-нат... А ежик на него-нат... И молчат-нат. – В этом месте последовала пауза, во время которой Серафим удивительным образом преобразился в ежика – он смотрел по-ежиному на представляемого огромного сохатого и заговорил по-ежиному – бодро, но с какой-то печальной хрипотцой: – А тебе разве-нат травка брюшко не щекочет-нат?

Вот тут Твороговы душу отвели, вот тут повеселились! О. Серапион грохотал раскатисто и басовито, матушка заливалась, запрокинувшись назад и повизгивая, а один из братьев, то ли первый Николай, то ли второй, повалился на пол и дрыгал от смеха ногами, и отовсюду слышалось:

– Травка!

– Брюшко!

– Щекочет!

– Ой, не могу!

Не смеялся лишь один Серафим. Во-первых, потому что отсмеялся в классе на уроке, когда услышал историю от соседа, и выпал из-за парты, о чем имелась соответствующая запись учителя в дневнике, и, хотя ему очень хотелось теперь вместе во всеми своими свободно и безнаказанно посмеяться, он не мог себе этого позволить, потому что ощущал себя героем. Да он и был героем, героем этого дня, а где это вы видели, чтобы, совершая свои подвиги, герои смеялись? Слезы Серафим в тот момент глотал, это правда, но то были героические слезы.

Рассказывая детский анекдот, Серафим невольно пророчествовал о себе и своей судьбе. Ведь это он был тем самым ежиком, которому травка всегда щекочет брюшко, а единственный его, самый лучший, самый надежный, самый сильный друг и брат во Христе о. Мартирий был конечно же лосем.

Маленькая, но очень важная деталь: ежиком о. Мардарий был необычным, он был ежиком с мягкими иголками. Известно, что все ежи такими рождаются, а спустя какое-то время твердеют до строгих своих колючек. Но по какой-то причине, быть может, из-за необычности своего рождения, воспитания или еще чего, иголки ежика Серафима остались мягкими. Что тут говорить, незавидна судьба такого совершенно не колючего ежа – скушает его первая встречная лиса, проглотит волчица, раздавит присевший отдохнуть медведь, но с лосем, этим, по сути своей мирным, но сильным, могучим животным, ему никто не страшен в сумрачном лесу жизни.

О встрече этих двух внутренне и внешне похожих на лося и ежа людей нам, видимо, придется особо рассказать, но пока мы говорим не о двоих, а об одном...

...и его мятежная юность

Телевизора у Твороговых не было не только по бедности, но и из принципиальных соображений – а ну как покажут что-нибудь не то? А с точки зрения православного христианина там все время показывали не то. Дети, несомненно, страдали, завидовали соседям с телевизором и иногда – нет, не смотрели, конечно, но – подсматривали – с улицы, через окно.

Увиденное впервые фигурное катание маленьких Твороговых настолько потрясло, что было тут же замечено родителями, за чем последовало суровое наказание. Оно заключалось в запрете на какой-то срок на причастие святых Христовых тайн, и более страшной кары Твороговы дети себе не представляли. Первенец Василий сказал однажды по этому поводу: «Лучше мне голым задом на горящую плиту сесть и ждать, пока вода во рту закипит, чем без причастия жить», – эта его фраза стала в семье крылатой и повторялась всеми, вплоть до Серафима. Имея в родительском арсенале подобное мощное воспитательное средство, о. Серапион легко добивался послушания от непокорной по своей природе детворы.

Подрастая, взрослея, внутренне обогащаясь, твороговские дети все прохладнее относились к телевидению, говоря: «Да там нечего смотреть». А вот радио слушали, и не только в новогоднюю ночь, правда, не всё, а только радиоспектакли и музыку – классическую и народную. Любимую передачу всех советских людей «С добрым утром!» Твороговы не слышали ни разу, потому что воскресным утром всегда пребывали в храме на службе, и, это может показаться невероятным, не знали, кто такой Аркадий Райкин...

Нет, это надо повторить: не знали, кто такой Аркадий Райкин!

Вслух читали много – по вечерам, всем семейством, и не только Четы миенеи, но и русскую классику. Пушкина любили, Достоевского остерегались, Толстого боялись, с Лесковым спорили.

Но и здесь были запреты.

У любимого Пушкина «Сказка о попе и работнике его балде» не читалась никогда, и не только из-за неверного, на взгляд о. Серапиона, «образа православного священнослужителя», но и из-за того, что слишком много места там уделяется существу для кого-то сказочному, а в твороговской семье вполне реальному, обозначаемому буквой «ч».

Твороговы никогда не произносили слово «чёрт» вслух, а если без него нельзя было обойтись, употребляли только первую букву, причем понизив голос до шепота:

– Ч.

Так называемую советскую классику не читали, хотя, конечно, и «Как закалялась сталь», и «Повесть о настоящем человеке», и «Молодую гвардию» дети в школе «проходили», за что получали мальчики тройки, девочки – четверки, но в семье об этом не говорилось, как о чем-то неизбежном, стыдном.

В течение многих лет почтальон приносил Твороговым одну газету и один журнал. Газетой была «Правда», и читал ее исключительно глава семьи – не только чтобы «быть в курсе», но и «для отвода глаз».

Надев очки, о. Серапион садился у окна, разворачивал газету, чтобы видел сосед-сексот, и прочитывал ее от начала до конца, после чего складывал, поднимался и сообщал семье громким шепотом:

– Всё – неправда!

Опасения и даже страх перед стукачом имели под собой основания: о. Серапион отсидел пять лет за то, что на проповеди назвал Александра Невского святым благоверным князем, а у матушки Неонилы был точно такой же срок за то, что на комсомольском собрании назвала Ленина антихристом.

Батюшка и матушка познакомились в Камышлагае и иногда шутливо говорили своим детям: «Все своих деток в капусте находят, а мы вас в камышах». Впрочем, с рождением Серафима эта семейная шутка уже не повторялась.

Ежемесячно приносимый почтальоном журнал назывался «Охота и охотничье хозяйство». О. Серапион ждал каждый новый номер с нетерпением и прочитывал от корки до корки с карандашом, делая пометки и выписки. В молодости, еще до рукоположения, он успел немного поохотиться с гончими, глотнуть сладкой отравы этой древнейшей мужской страсти. Как священник о. Серапион не имел права стрелять и убивать и никогда этого не делал, но чтобы страсть утолить, ясным зимним деньком становился на широкие лыжи, затягивал свой старый латанный кожух самодельным патронташем, закидывал за спину одноствольную тулку со спилленным бойком, отстегивал от цепи гончака, которые у Твороговых никогда, даже в самые голодные времена не переводились, – Заливая или Догоняя, – других кличек о. Серапион как будто не ведал, и отправлялся в лес.

Пес знал свое дело – быстро находил косога и начинал гонять его по кругу с голосом. А православный охотник присаживался на поваленное дерево и слушал, наслаждаясь торжественным и страстным звуком гона, как наслаждается оперный фанат голосом любимого тенора – иной раз даже до слез. Где-то на четвертом круге о. Серапион выбирал позицию и снимал с плеча ружье. Притомленный бегом заяц останавливался на полянке, присаживался, озираясь, и в это время охотник тщательно выцеливал его, нажимал на спусковой крючок, после чего громко изображал выстрел: «Пу!!!» И еще раз: «Пу!!!» – ружье было одноствольным, но о. Серапион всегда мечтал о двустволке.

– Сегодня трех штук взял, – важно сообщал он матушке Неониле, когда после охоты та отпаивала его чаем с сушеной малиной.

– И не жалко, тебе, батюшка, зайчиков?! – недоумевала и сочувствовала даже неубитым зверюшкам матушка Неонила. – Прыгают себе, скачут, а ты...

– Как не жалко? Жалко, – соглашался о. Серапион, вытирая полотенцем пот со лба. – Но тут уж, матушка, ничего не поделаешь. Охота – это такая вещь...

Меж тем наступила перестройка, и, прочитав в «Правде» очередное бесконечно-длинное и путаное выступление Горбачева, о. Серапион не говорил уже, что все неправда, а тянул в задумчивости:

– Да-а-а...

Помнится, одно из первых произнесенных маленьким Серафимом слов было слово «революция» – оно неожиданно аукнулось спустя много лет, когда в семье Твороговых появился свой революционер. Не только матушке, сестрам и братьям, но и самому батюшке юный Серафим бросал в лицо известный лозунг той поры:

– Перестройку начни с себя!

– Отойди, сатана! А то я тебе сейчас такое ускорение сделаю, что и матушка не удержит! – свирепел о. Серапион.

Братья применяли верное средство против распространяемой в семье революционной заразы – показывали Серафиму козу, и он тут же бледнел и замолкал, а если прибавляли грозно: «Идет коза рогатая!» – горе-революционер в ужасе убегал. Матушка на братьев ругалась, просила не применять этот запрещенный прием, но что им, пребывающим в растерянности, озадаченным новыми временами, было делать?

В о. Серапионе перестройка вызвала смятение. С одной стороны, власть стала относиться к церкви мягче, чем в прежние времена, но это-то и пугало. Нет, не готов он был к новой жизни, и ушел из нее с убеждением, что хуже, чем было, быть не может, но лучше тоже не нужно, потому что потом может стать совсем плохо. Простудившись однажды на охоте, о. Серапион решил выбить клин клином и, несмотря на уговоры матушки, снова на охоту отправился, выбив таким образом клин собственной жизни – слег и уже не поднялся.

Завещание о. Серапиона было устным, но тщательно выверенным: кто получил кожу, кто лыжи, кто ружье без бойка, один последыш остался без наследства.

– Бог попустил тебе родиться, Бог тебя и не оставит, – пообещал батюшка и, обратившись к братьям, прибавил, имея в виду Серафима: – Захочет уйти – не удерживайте.

После смерти отца главой рода и настоятелем храма стал о. Василий с раздобытой аж в Сибири дылдыстой и косоглазой женой. О. Василий старался сохранить все, как было при отце, но, по правде сказать, мира в семье Твороговых не стало, всем сделалось в доме не только тесно, но и неудобно.

Серафим едва пережил смерть отца – его откачивали, отпаивали, хлестали, приводя в чувство, по толстым щекам. А когда на похоронах сын обхватил руками гроб отца, желая вместе с ним быть погребенным, четверо здоровых братьев с трудом смогли его от отцовской доминины оторвать... Да что там – упал ведь, в могилу вслед за гробом свалился, не желая расставаться с отцом, веревками ведь вязали и тащили наверх!

Ругались на Серафима после, стыдили, но и сами устыдились, увидев, кто из них больше всех батюшку любил.

– А я всегда это знала, – сказала матушка Неонила, когда пришла в себя.

Спустя год после смерти о. Серапиона ей потребовалась какая-то несложная, но обязательная операция, однако матушка наотрез отказалась ее делать и не ушла, а, можно сказать, убежала вслед за супругом, оглядываясь на детей с виноватой улыбкой.

– Зато без меня ты начнешь жить взрослой жизнью, – пыталась она объяснить любимцу выгоду его будущего сиротства, перештопала свое старенькое бельишко, чтобы оставить его дочерям, и умерла.

Смерть любящей и любимой мамочки юноша перенес легче и над могилой почти не плакал, чем вновь удивил братьев и сестер.

Свежий ветер перемен разгонял скорбь, не давая думать о вечном. Серафим читал газеты, дискутировал с соседом-сексотом, призывая его к покаянию, по поводу и без повода цитировал Горбачева, а по ночам у соседа со справкой смотрел по телевизору программу «Взгляд».

Особенно его поразил сюжет, посвященный проституткам. Серафим заговорил о свободе плоти и о том, что должен поехать в Москву, где он эту свободу обретет. Пребывавшие в тесноте и обиде братья и сестры его уже не слушали, одна лишь Фекла относилась к заявлениям младшенького со всей ответственностью старшей сестры, частенько разговаривая с ним, пытаясь по привычке усадить к себе на колени.

– А ты не боишься, братец? – спрашивала она, а у самой от страха округлялись глаза.

– Чего бояться-то-нат? – храбрился Серафим.

– Ивашка, Ванька, Иван... – напоминала Феклуша.

– Ха-ха! Ты еще Ираиду вспомни! – насмешничал в ответ юноша.

– А епископ Иоанн, – напоминала Фекла о дальнем московском родственнике. – Встретит тебя там и посадит в свой департамент!

(Две вещи по-настоящему пугали Серафима в его воображаемом путешествии в Москву: пребывающий где-то там епископ Иоанн (Недотрогов) и козы, которые могут встретиться по пути, – в столице быть их уже не должно.)

Серафим нервно глотал ртом воздух, набираясь мужества для продолжения разговора.

– Преподобный Паисий Величковский-нат говорил-нат: «Страх будущих скорбей-нат рождает слабость-нат и малодушие-нат», – объяснял брат сестре.

– Говорил, – скорбно соглашалась Феклуша. – Только преподобный совсем другое имел в виду.

Серафим отмахивался.

– Как наш батюшка-нат, царствие ему небесное-нат, говорил-нат: «Волков бояться-нат – в лес не ходить-нат». И ходил-нат!

– Говорил, ходил! – в голосе Феклы появлялись слезы. – А матушка, упокой, Господи, ее душу, все это время на коленях стояла – молитвы от волков читала. Ружье-то у батюшки не стреляло!

«Мое выстрелит!» – так образно и вольно хотелось крикнуть Серафиму, чтобы не только Фекла, но и весь мир услышал, но не делал этого – жалел, не мир – любимую сестренку.

(Забегая вперед, скажем, что Серафимушкино «ружье» так и не выстрелило, и решающую роль в этом сыграл о. Мартирий, впрочем, это другая история, которую непременно придется рассказать, озаглавив ее, ну, скажем, «Битва в пути»).

Революционные события в семье Твороговых развивались стремительно: двадцать первого августа 1991 года, когда революционно настроенные москвичи защитили демократию и самозванное ГКЧП пало, настоятель храма Успения Богородицы в поселке Новоленинское о. Василий со своим многочисленным семейством возвращался домой после отслуженной литургии по поводу великого праздника Преображения Господня и первым увидел, что над их домом развевается трехцветный флаг, а рядом, держась за древко, стоит мятежный Серафим.

Внизу уже собрались довольные зрелищем соседи, заливался лаем Заливай, бегал в исподнем пьяный участковый, а бывший сексот фотографировал происходящее фотоаппаратом «Смена». Чинное православное семейство кинулось туда со всех ног. Растолкав собравшихся и уронив сексота, братья тут же полезли на крышу, а сестры побежали к себе в дом и стали вытаскивать на улицу матрасы и подушки, призванные смягчить возможное падение на землю родного человеческого тела, при этом Фекла надувала на бегу резиновый матрас, на котором спала сама.

Воздух свободы пьянил в тот момент не только счастливых защитников Белого дома в Москве – он долетал и в далекое Новоленинское, где стоял на крыше дома пьяный от революционного восторга Серафим.

Ветер перемен трепал полотнище флага, наскоро сшитого из половинки белой наволочки, красного платка Феклы и синих ненадеванных трусов Серафима, ерошил жидкие волосенки на голове розовошекого толстяка, придавая определенный романтизм всему его весьма не романтическому облику.

Серафим видел карабкающихся к нему по крыше братьев и, вскинув вверх кулак, прокричал в сторону невидимой, но, несомненно, существующей Москвы:

– Да здравствует свободная Россия-нат! Да здравствует демократия-нат! Да здравствует...

Братья неотвратимо приближались, и от здравниц надо было срочно переходить к политическим требованиям:

– Свободу совести и плоти-нат! Свободу Серафиму Творогову!

Последнее Серафим прокричал, подняв свой самодельный флаг над головой, но, махнув им всего раз, не удержал равновесие и под общее с земли «а-ах!» – кубарем полетел вниз.

Серафим не выцеливал Феклин матрас, но упал именно на него, и, возможно, это спасло ему жизнь, сломанными оказались всего одна нога, две руки и три ребра. Почти два года ушло на выздоровление, но ни больничная койка, ни эмалированная утка, ни костыли – ничто уже не могло охладить его революционный пыл.

Но ведь то же было и с нашей страной: свобода разгоралась, как пожар в брошенном доме – тушить не нужно, потому смотреть интересно.

Загипсованный, забинтованный, с исколотой попой Серафим все больше утверждался в необходимости освобождения своей плоти, для чего должен был сделать первый непростой шаг – покончить раз и навсегда с постыдной и несвоевременной девственностью.

Вообще-то, девственность была нормальным состоянием всех твороговских детей до законного освобождения от этого нелегкого бремени. Не только девушки, но и юноши, а точнее будет сказать – мужчины, так как отслужили уже в армии, рослые, плечистые, бородатые, все они познавали плотскую близость в свою первую брачную ночь, и остается только догадываться, чего это стоило здоровым парням, для которых грех рукоблудия приравнялся к скотоложству.

Серафим этих проблем, наверное, не имел – в двадцать один год он еще не брился (в армию его не взяли из-за плоскостопия, перешедшего после перелома ноги в косолапие) и на женщин смотрел без намека на вожделение, глядя не на ноги или грудь, а исключительно в глаза. Для него это был не вопрос пола, а вопрос принципа, разрешить который представлялось возможным только в Москве.

Как все новое и прогрессивное, проститутки находились там.

«В Москву-нат! В Москву-нат! В Москву-нат!» – упрямо заладил наш герой, не слыша ничего супротивного в ответ, не видя сердитых братских взглядов и горестных глаз сестер.

Выполнив все пункты отцовского завещания, поделив между собой кожух, лыжи, патрон-таш и ружье, братья нарушили его в одном пункте – чтобы Серафим не погиб окончательно, решили никуда младшего не отпускать.

И наверняка никуда бы не отпустили, если бы Серафим не перестал ходить в храм, и даже запрет на причастие его уже не пугал.

– Между городом «Да»-нат, и городом «Нет»-нат есть огромная страна-нат, в которой живут свободные и порядочные люди-нат. Она называется-нат «Ни да, ни нет»-нат. Я отправляюсь туда-нат и буду там жить-нат, – так неожиданно витиевато объяснил однажды свою новую религиозную позицию Серафим, но братья его поняли.

«Пошел вон, щенок!» – вот что хотели они на это ответить, но, преодолевая себя, ответил за всех старший Василий:

– Что ж, вольному воля...

И Серафим покинул свой род и отправился в Москву, и та полная опасностей и приключений поездка требует уже совершенно отдельной главы, которую, как обещано, мы называем «Битва в пути».

Глава двадцатая. Битва в пути

Воистину судьбоносная встреча Сергея Николаевича Коромыслова и Серафима Серапионовича Творогова, более известных нам как о. Мартирий и о. Мардарий, случилась 21 ноября 1993 года, когда русская церковь праздновала Собор Архангела Михаила и прочих Сил Бесплотных. (Как все религиозные люди, не допускающие случайностей, годы спустя вспоминая произошедшее в тот день, наши герои находили в этом глубокий смысл.)

Объединившая две судьбы в одну встреча произошла там, где очень часто у нас в России встречаются и знакомятся совершенно незнакомые люди, разговаривают на все без исключения темы, выпивают, закусывают, пьют чай, спят, перекусывают, пьют и снова разговаривают на все без исключения темы, где рвутся старые связи и завязываются новые, где делаются неслыханные признания и совершаются невиданные поступки, где русский человек не только с горечью поминает свое прошлое, но и с надеждой думает о будущем, – вы, конечно, уже поняли: встреча эта произошла в дороге.

Дорога в России больше, чем дорога, при условии, что она железная.

Без сомнения, самолет – изобретение дьявольское, направленное, в первую очередь, против русского человека. Европейцы ничего не потеряли, пересев из кресел узкоколейных своих вагончиков в самолетные кресла, мы же потеряли очень многое, если не всё.

В самолете не поваляешься на верхней полке, не покуришь в холодном тамбуре, не посидишь в вагоне-ресторане за солянкой в судке и графинчиком водки, а главное, не поговоришь – не поговоришь по душам с совершенно незнакомым тебе человеком, не выложишь ему всю подноготную своей непутевой жизни, а он – своей.

Дорога для русского человека – очередной последний шанс стать лучше, и слава тебе, Господи, что наши герои встретились не в самолете – в поезде.

Пассажирский поезд «Караганда – Москва» с гремящими облезлыми вагонами и грязными битыми стеклами напоминал поезда известной нам по советским фильмам гражданской войны, с той лишь разницей, что на крыше не сидели мешочники, а сам поезд был заполнен едва ли на четверть. В те уже далекие, но все еще памятные годы даже самый доступный вид общественного транспорта – железнодорожный – подавляющему большинству населения огромной страны был малодоступен.

Ехать было не на что, некуда, да и незачем.

С так называемым общественным питанием дела обстояли еще хуже.

Не считая новоявленных бандитских шалманов, из всего советского общепита остались лишь вагоны-рестораны, и на их немногочисленных посетителей прохожие смотрели сквозь окна с завистью и презрением.

Но может, напрасно мы им завидовали и зря презирали, верно, встречались среди любителей попить во время общественно-политической чумы приличные люди, какими, несомненно, были те, о ком в данной главе идет речь.

Итак, как мы уже сказали, 21 ноября 1993 года в вагоне-ресторане пассажирского поезда «Караганда – Москва» встретились два хорошо знакомых нам человека, которые выглядели совсем не такими, какими мы привыкли их видеть.

Совсем непросто в том Коромыслове узнать будущего о. Мартирия.

«За» говорили богатырские плечи, бычья шея и, конечно, ручки с пунцовыми шрамами, происхождение которых нам теперь доподлинно известно, «против» – отсутствие бороды и усов. Сергей Николаевич был гладко, до синевы, выбрит, вместо длинных священнических влас на его голове топорщился короткий ежик, и, наконец, одежда – ни подрясника, ни наперсного креста на нем, разумеется, не было, вместо этого наличествовал не лишенный форса черный френч с воротником-стойкой и синие с красными лампасами суконные штаны,

заправленные в высокие хорошо начищенные хромовые сапоги. Погоны отсутствовали, но, судя по более темным прямоугольникам ткани на плечах и едва заметным торчащим кое-где ниткам, еще недавно они там были. На накладном кармане на правой стороне груди был прикручен крупный и затейливый значок: верховой казак с пикой на фоне синей эмали с красной каймой, на которой золотой вязью шла надпись: «Яицкое казачье войско».

Из всего этого мы можем сделать вывод, что наш герой недавно был казаком, а теперь перестал им быть.

Бывший яицкий казак заказал себе все имеющиеся в меню блюда, а именно: «салат овощ., бульон с яйц., антрекот мяс. с картоф. жар.», а также «компот из сх/ф».

Салат представлял собой крупно изрубленный верхний капустный лист, сбрызнутый столовым уксусом; бульоном с яйцом именовалось налитая в тарелку едва теплая вода, в которой болталось очищенное куриное яйцо, напоминающее синеватый с темным зрачком бычий глаз; антрекот назывался в меню мясным, видимо, для того, чтобы на этот счет не возникало сомнений, но сомнения не могли не возникнуть, так как внешним видом, жесткостью и явной несъедобностью он являлся скорее хорошо прожаренной подошвой старого солдатского башмака, на которой были видны поперечные насечки, происхождение которых легко объяснимо – кто-то уже безуспешно пытался употребить данный предмет в пищу, а вот «картоф. жар.» был самой настоящей жареной картошкой, правда синей, холодной и от недостатка масла сухой. И наконец, о компоте, об этой забытой в чередѣ обрушившихся на страну перемен услѣде пионерского детства, отраде больничных обедов, украшении санаторных будней. Всяк, кто провел часть своей жизни в стране под названием Советский Союз, скажет: компот из сухофруктов лишь тогда чего-нибудь стоит, если в нем присутствуют сушеные груши, изюм и хорошо бы курага, если же в нем одни только яблоки, да к тому же урожая позапрошлого года, то тогда уж лучше другой популярный продукт той великой эпохи – кофе бочковое, когда стакан заполнен отдающей махоркой коричневой бурдой, сверху которой плавает непонятного происхождения желтоватая слизь, лучше – чай за две копейки, внешним своим видом напоминающий то, что не хочется за обедом называть!

Однако, как и все блюда в меню вагона-ресторана, компот был безальтернативным, и официантка принесла именно его – мутноватую жидкость в захватанном граненом стакане, на дне которого лежали две черные дольки яблока, внешне напоминающие (придется все же назвать вещи своими именами) кошачьи какашки.

И страшно сказать, сколько все это безобразие стоило! Сейчас уже не вспомнить, какие в девяносто третьем году ходили деньги, но за поданный обед должно было выложить в прямом смысле этого слова кругленькую сумму, если не миллионы – тысячи, многие тысячи, округленные при подсчете до трех нулей.

Чтобы более ни к неприятному обеду, ни к обескураживающей его стоимости не возвращаться, а сосредоточиться, наконец, на знакомстве наших героев, переросшем в беспримерную по нынешним временам дружбу, скажем сразу, что бывший яицкий казак безропотно все съел, выпил и за все заплатил по счету, причем последнее сделал прежде первого, так как официантка сразу предупредила, что обед с предоплатой.

И тут же объясним, зачем Коромыслов все это сделал.

Был голоден?

Наверное, но, чтобы утолить голод, он мог не рисковать своим здоровьем, а выйти на большой станции на перрон и купить у крикливых заполошных теток вареной картошки и соленых огурцов за вдесятеро меньшую сумму и налопаться в своем купе от пуза, он что, этого не знал?

Знал, конечно!

Сергей Николаевич пошел в вагон-ресторан осознанно и целенаправленно, чтобы последний раз в жизни посидеть в ресторанчике, и с подошвой-антрекотом сражался, чтобы последний раз в жизни поесть мяса.

Но вам, конечно, понятно: наш герой собирался уходить не из жизни – из мира, направляясь навсегда туда, где в ресторанах не сидят и мяса не едят.

Покинув в октябре девяносто третьего Москву, сразу после так называемого расстрела Белого дома, пообещав тогда же посвятить свою жизнь Богу, уже в ноябре того же года свое обещание Коромыслов исполнял.

Съездив в Южноуральск, где ему принадлежала квартира-однушка, мотоцикл «Днепр» и гараж-ракушка, Сергей Николаевич побывал в Оренбуржье, где тепло простился с боевыми товарищами казаками и, вскочив под их прощальное «Любо!» на ходу на подножку карагандинского поезда направился в сторону К-ска, где, по слухам, должен был открыться монастырь, в котором он собирался провести остаток своей земной жизни, чтобы уйти оттуда в жизнь вечную.

Любопытная и важная деталь: во все время того последнего обеда на ресторанном столике находился предмет, которому было бы уместнее лежать на полу задвинутым под стул – то был просоленный потом спины и подкопченный дымом костров, продырявленный и подштанпанный, выдавший виды брезентовый солдатский сидор, крепко схваченный узлом и заполненный под самую завязку чем-то, что топорщило старый брезент углами. Кстати, подошедшая официантка первым делом спросила не «Что будете есть?» – а, указывая на сидор, презрительным взглядом: «Это никак нельзя убрать?»

– Никак, – ответил Сергей Николаевич и, видимо, убедительно ответил, если к этому вопросу выдавшая виды женщина по имени Ольга больше не возвращалась и тут же задала вопрос, какой не задала сразу:

– Что будете есть?

– Всё, – ответил Сергей Николаевич, глядя в серый листок немногословного меню.

– А пить?

– Ничего, кроме компота, – ответил как отрезал Сергей Николаевич.

– У нас предоплата, – предупредила официантка, испытывающе глядя на клиента, и назвала баснословную стоимость заказа.

Коромыслов не выразил удивления, но деньги отсчитывал тщательно, не прибавив на чай ни копейки.

Сунув тысячные банкноты в просторный карман фартука, официантка удалилась, даже спиной выражая презрение к тому, кого вынуждена здесь обслуживать. Знай Ольга, что в сидоре лежит, небось постояла бы еще пяток минут рядом, похихикала бы, построила бы глазки, покрутила бы бедрами, пытаясь если не понравиться, то хотя бы произвести впечатление. В сидоре лежали деньги, по тем временам и в тех местах большие, вырученные Коромысловым от продажи принадлежавших ему квартиры-однушки, мотоцикла «Днепр» и гараж-ракушки, которые он собирался пожертвовать на восстановление православной обители, призванной стать его последним жизненным пристанищем.

Кроме стянутых бечевою кирпичей из банкнот на дне сидора лежали два настоящих силикатных кирпича. Они находились там, во-первых, потому, что Сергей Николаевич любил ощущать в руке тяжесть, а во-вторых, на случай, если кто вдруг вздумает посягнуть на монастырские капиталы – с кирпичами сидор превращался в действенное оружие ближнего боя.

Однако перейдем к следующему фигуранту чуть было не заведенного в тот день уголовного дела. Если в теперешнем о. Мартирии присутствует несомненное сходство с тогдашним Сергеем Николаевичем, то в вошедшем в вагон-ресторан немного позднее молодом человеке очень полной комплекции вы ни за что не узнали бы нашего о. Мардария, хотя, как известно, за свою жизнь толстяки внешне мало меняются, если, конечно, не похудеют. Но этот так был

одет и так себя вел, что, сравнивая о. Мардария, которого знаем, с тем, еще нам неизвестным, девяносто девять из ста наверняка сказали бы: «Это два совершенно разных человека».

Хорошо, но как же он был одет?

Как?.. С чего начать?..

Начнем, пожалуй, с того, с чего все в человеке начинается – с головы. На его плохо скрытой жидкими волосенками, напоминающими приклеенные перышки, маленькой, как у всех толстяков, головке злобно красовалась ядовито-зеленая бейсболка с крылатой эмблемой мотоцикла «Харлей-Дэвидсон», и похоже, данная деталь гардероба Серафиму очень нравилась, иначе зачем бы он то и дело ее трогал, поворачивая козырек то влево, то вправо.

Ниже знакомой нам словно циркулем нарисованной круглой физиономии с глазками-пуговками и носиком-пимпочкой, ввиду отсутствия шеи сразу шел желтый в крупную клетку пиджак, наверняка самый большой из имевшихся в продаже, но все равно меньше того, какой был нужен нашему герою. Обильное тело не удерживало в своих объемах вспученную душу Серафима, она рвалась наружу, отчего квадраты на пиджачной ткани силились стать окружностями. Тонкой прослойкой между душой толстяка и пиджаком толстяка являлась футболка, скорее даже тельняшка – с широкими продольными полосами и большим золотым якорем, загнутые концы которого прятались в джинсах, застегнутых на неохватном животе юноши аккуратно под самой грудью.

Джинсы были красные.

Вздернутые значительно выше положенного, эти новейшие революционные штаны кончались на середине голени, обнажая два белых, как ошкуренные кленовые поленца, безволосых столбушка Серафимушкиных ног.

Обут он был в адидасовские кроссовки, на одной из которых имелись почему-то лишь две фирменные полоски, зато на другой их было четыре.

И всё, как говорится, с иголочки, ни разу не надеванное: младший Творогов прибарахлился накануне в привокзальном ларьке, а переделся уже в поезде, безжалостно выбросив одежду своего презренного прошлого на ходу в окно.

...Оторвав напряженный взгляд от тарелки с бульоном, Коромыслов коротко и бесстрастно взглянул на этого бесплатного клоуна и тут же вновь опустил глаза: готовясь к будущему иноческому служению, Сергей Николаевич поставил себе ничему мирскому не удивляться и, по возможности, на него не реагировать.

– О'кей! – воскликнул толстяк, высоко оценив убогий интерьер эмпээсовского кабака, и хотел развить свою мысль, но вагон вдруг сильно дернуло, и, согласно законам физики, тот, кто больше весит, больше подвержен силе инерции – толстяк пролетел полвагона, зацепился за столик руками и плюхнулся на диванчик, делая вид, что именно это место он и облюбовал.

Повернув бейсболку козырьком назад и вытерев со лба ладонью выступивший пот, Серафим дерзновенно глянул вверх, потом по сторонам, вперед и, наткнувшись взглядом на сидящего через два ряда на другой стороне вагона Коромыслова, приветливо воскликнул и даже сделал ручкой.

– О, казак! О'кей, казак!

Казак на приветствие никак не отреагировал, он был целиком занят поединком с яйцом из бульона, которое оказалось резиновой плотности и металось во рту, как теннисный мяч на корте.

А рвущаяся на волю душа Серафима все больше не давала покоя его телу: он ерзал на стульях, откидываясь на спинки и забрасывая ногу на ногу, вынимал из вазочки пыльный пластмассовый цветок, вертел его в руках и даже понюхал, после чего стал смотреть в окно – любоваться пейзажами за треснутым грязным стеклом, но там тянулась бесконечная и унылая, испоганенная русским человеком и прихваченная русским морозом русская земля конца двадцатого столетия: брошенные карьеры, изъезженные неродящие поля, мертвые заводы, дохлые

колхозы и бесконечные свалки и помойки, а на проплывшей вдруг за окном станции присутствовало то, что и на всех остальных таких же железнодорожных станциях присутствует – желтый дом вокзала, желтый дом сортира, на одном конце пустого перрона тоскливый мент, на другом тоскливый бомж.

Все это вряд ли могло понравиться новому русскому путешественнику, он протестующе потянул вниз клеенчатую шторку, чтобы окно закрыть и всего этого безобразия не видеть, но шторка вырвалась и спряталась в металлическом тубусе, предлагая: смотри! Серафим с таким предложением не согласился и вновь попытался закрыть окно, но шторка снова взметнулась вверх, настаивая на своем: нет, смотри! Тогда Серафим протестующе отвернулся от окна и воззрился на Коромыслова – в тот самый момент, когда Сергей Николаевич замер в раздумье: выплюнуть резиновое яйцо обратно в тарелку или целиком его проглотить.

– Эй, казак, как здесь кормят? – с видом и интонацией завсегдатая ресторанов поинтересовался Серафим.

От такой фамильярности Сергей Николаевич возмущенно вскинулся, выпрямился, и ситуация с яйцом разрешилась сама собой. Негромко кашлянув в кулак, Коромыслов внимательно посмотрел на наглеца, и в глазах его в тот момент явственно прочитывалось желание подняться, подойти и опустить свой железный кулак на мягкое темя Серафима, но, вовремя вспомнив, куда едет и зачем, он усилием воли подавил в себе греховное желание и сдержанно ответил:

– Никак.

В этот момент из своего укрытия в конце вагона появилась знакомая нам официантка.

– О'кей! – закричал Серафим и махнул ей рукой, подзывая.

Подходя, официантка устало вздохнула и презрительно скривилась.

– Что будем есть? – спросила она, равнодушно глядя в свой грязный блокнот.

– Мы не будем есть, мы будем пить! – воскликнул Серафим и засмеялся довольный собой. – Шампанское, о'кей?

– Шампанского нет, – ответила официантка и хмыкнула.

– Шампанского нет-нат, – огорчился Серафим и озадачился, видимо, в его представлении шампанское в ресторане должно литься рекой.

– Водка есть, – напомнила о себе официантка, про которую озадаченный клиент забыл.

– Водку должны пить казаки! – воскликнул Серафим, мгновенно возвращаясь в отличное расположение духа, и, указывая пальцем в направлении Коромыслова, прибавил: – А они пьют компот!

Но и на это Сергей Николаевич внешне не прореагировал и крепче зажал в руке тупой нож, отрезая от подошвы солдатского башмака полоску и отправляя ее в рот.

– Портвейн есть, – вновь напомнила о себе официантка.

– Портвейн? О'кей! – обрадовался толстяк и спросил: – А вы знаете, что означает это слово? Порт-вейн – португальское вино!

– Теперь буду знать, – теряя терпение, сказала женщина.

– Я надеюсь, оно из Португалии? – с видом знатока поинтересовался Серафим.

– Портвейн «Три семерки». – Официантка отказывалась рассуждать о портвейне.

– Хорошо, что не три шестерки-нат, – проговорил толстяк, немного успокаиваясь. – Портвейн «Три семерки», о'кей! Один бокал, о'кей!

– Портвейн в разлив не идет, бутылка целиком, – сообщила официантка.

– О'кей, о'кей! – Ничто в этот день не могло испортить настроение Серафима. – А что у нас на десерт? – Он был в ресторане впервые в своей жизни, но по американским фильмам знал, как надо себя в них вести и какие задавать вопросы.

Однако официантка вопроса не поняла и предложение уточнила:

– Сладкое, что ли?

– О'кей! – обрадовался Серафим – это слово тоже было ему ближе, роднее и желаннее, чем неведомый «десерт».

– Мармелад «Яблонька»! – угрожающе проговорила женщина, но Серафим угрозы не почувствовал, а обрадованно закричал:

– «Яблонька»! Это же мой любимый!

– В пачке!

– В пачке, и только в пачке! Вау! «Яблонька». Несите, всё несите! «Три семерки» и «Яблоньку».

– У нас предоплата, – строго сказала официантка, и Серафим немного сник, вернувшись внезапно с американских небес на постсоветскую землю.

Откуда-то он знал, что такое предоплата, и, достав из кармана бумажник с подмигивающей японкой, вытащил крупные купюры, бросил их на стол, проговорив: «Сдачи не надо, о'кей», после чего вновь вернул себе отличное настроение.

Спустя пару минут официантка поставила перед забавным клиентом бутылку портвейна, пластиковый фужер и положила коробку конфет.

– Оль-га, – Серафим успел прочитать грубо исполненную наколку на руке официантки и бодро назвал себя: – А я Джеки!

Вы наверняка обратили внимание на то, что из речи нашего героя почти исчезло одно слово-паразит и вместо него появилось другое. Лежа в больнице и готовясь к новой жизни, Серафим стал бороться со своими «натами». Боролся долго и упорно, пока не понял: победить их нельзя, а вот заменить можно. В расцветшую буйным цветом языковую эпоху «дилеров» и «киллеров» на эту роль «о'кей» подходило как нельзя лучше – никто данному заморскому словцу не удивлялся.

Но мало изменить привычку разговаривать.

Серафим решил во всем измениться и свои коренные изменения начал с имени, справедливо полагая, что человек с именем Серафим вряд ли найдет себя в новой жизни. В паспорте он решил ничего не менять – это представлялось чересчур хлопотным, и он справедливо рассудил, что нас называют так, как мы при знакомстве представляемся. Подбирая себе новое имя, Серафим не заглядывал в святцы, какими к тому времени стали для него титры американских боевиков, к которым он воспылал любовью и которые мог смотреть бесконечно, прекрасно помня имена кумиров из мира его грез. (Именно под влиянием боевиков крайне болезненное падение с крыши стало представляться Серафиму сногшибательным трюком, и он начал ощущать себя блестящим актером, который не нуждается в каскадерах.)

Наиболее подходящими были имена Тарзан, Арнольд, Чак и Джеки, но Тарзан уже было схвачено каким-то отставным советским офицером, ставшим стриптизером, Арнольд казалось сложным для произношения и чересчур немецким, Чак напоминало Чука, брата Гека, поэтому Серафим взял себе четвертое.

И не только потому, что Джеки Чан был ему более остальных суперменов симпатичен, но еще и потому, что тот был китайцем, от рождения каким-нибудь Суньвынем. «Если китайцу это имя подошло, неужели не подойдет мне, русскому?» – рассудил Серафим и стал именоваться Джеки.

Джеки Творогов – коротко, звучно, красиво.

Джеки ехал в Москву, чтобы сделать там головокружительную артистическую карьеру. А если, решил Серафим, на «Мосфильме» вдруг не оценят его умение прыгать с крыши, он направит свои плоские стопы в Америку, и там, в Голливуде, его новое имя сразу придется ко двору.

В описываемый момент он впервые публично представился своим новым именем, но, вопреки ожиданиям, официантка никак на Джеки не прореагировала, видать, слышала и не

такое. Удалившись тяжелой поступью, она, однако, не исчезла совсем, а села за столик между двумя посетителями и стала считать что-то на деревянных счетах.

– Три семерки, – задумчиво проговорил Серафим, глядя на криво приклеенную этикетку и, прибавив: – Хорошо, что не три шестерки, – решительно налил мутно-коричневую дурно пахнущую жидкость в захватанный фужер и замер в нерешительности. До этого он пил спиртное всего два раза: в больнице – пиво, после чего долго плевался, решив почему-то, что именно такова на вкус конская моча, а второй – у соседа-стукача – водку, после чего потерял сознание, и его потом откачивали и отпаивали молоком.

Но ведь то происходило с Серафимом, а теперь он был Джеки, к тому же портвейн не пиво и не водка...

– О'кей, Джеки! – подбодрил себя Серафим и, бесстрашно выпив фужер до дна, стал торопливо закусывать белесыми и твердыми мармеладинами, умяв подряд аж шесть штук.

– Эй, казак, хотите выпить? Я угощаю! – поняв, что жив, крикнул он, обращаясь к Коромыслову через голову официантки. – Эй, казак!

– Я не пью, – глухо и сдержанно ответил Сергей Николаевич, напряженно работая челюстями.

– Непьющий казак-нат, – хмыкнул Серафим, оставаясь один на один с тремя семерками.

Портвейн начал делать свое дело – Серафим еще больше приободрился, еще больше повеселел, окинул убранство вагона-ресторана (интерьер которого показался вдруг еще краше) приветливо-победным взором, и ему еще больше захотелось общаться.

– О'кей, казак, вы в Москву? – поинтересовался он, настойчиво завязывая разговор.

Казак с ответом помедлил, словно решая, нужно ли это делать, но все же ответил:

– Нет.

– А куда же-нат? – опешил Серафим. Ему не представлялось возможным, что московским поездом кто-то может ехать не в Москву.

Сергей Николаевич вновь помолчал, но опять ответил.

– В К-ск.

– Но это же глухая провинция, о'кей, дыра, о'кей? Что там делать, о'кей? Что вы собираетесь там делать, о'кей?

А на этот вопрос Коромыслов решил уже не отвечать, пусть даже ценой обиды собеседника.

Но Серафим не обиделся, он просто этого не заметил.

– А поехали со мной в Москву, казак? – воскликнул он совершенно искренне. – Таким молодцам, как мы с вами, только там и место, о'кей!

На «молодцов» официантка Ольга скривилась и громко хмыкнула. Серафиму не понравилось, что женщина слушает мужской разговор, но одергивать ее не стал, взял в руки фужер и бутылку, намереваясь пересесть за столик к казаку, поднялся, но почувствовал вдруг, что идти не может – ноги мягко проседали под его обильным телом и, скорее всего, он упал бы, но пассажирский поезд «Караганда – Москва» словно пришел на помощь начинающему гуляке – резко дернулся, и, вновь подчиняясь все тем же законам физики, Серафим перелетел с одного места на другое, чудесным образом не задев официантку и даже не расплескав портвейн. Однако внутри него зелье взболталось, ударило хмельной волной в голову, зрачки Серафимовых глаз мгновенно расширились, лицо обмякло, румянец на щечках исчез, рот безвольно скривился, на лбу выступили крупные капли холодного пота. Еще мгновение, и случилось бы непоправимо страшное, но, громко икнув и обдав Сергея Николаевича забытым запахом портвейна, он вновь стал способен к общению.

Гуляка протянул свою детскую ладошку с пальцами-сосисками и представился:

– Серафим!

Это имя, это слово прозвучало здесь так неожиданно, как если бы среди стаи серых воробьев где-нибудь на коровьем выпасе оказалась диковинная птичка колибри, – Коромыслов перестал пластать ножом подошву, а официантка перестала щелкать счетами.

Серафим запоздало заметил свою оплошность и спешно поправился.

– Я хотел сказать – Джеки, о'кей!? Я Джеки!

Он все продолжал держать на весу ладонь, но Коромыслов не протягивал ответно свою: с Серафимом он бы, может, познакомился, с Джеки – нет.

О, сколько раз потом о. Мартирий просил у Господа прощения за совершенный в поезде грех высокомерия и лицеприятия, как корил себя за то, что не протянул в ответ руку, чем стоящего на краю пропасти молодого человека в эту самую пропасть чуть было не подтолкнул. Неизвестно, прощен ли ему тот грех, но мы бы даже не стали порицать Сергея Николаевича, потому что, в самом деле, вел себя Серафим безобразно. Коромыслова извиняет также то, что в болтливом вызывающе одетом толстяке он заподозрил содомита, которые с наступлением свободных времен не только не скрывали своих порочных наклонностей, но всячески их демонстрировали, а зная отношение нашего героя к подобного рода личностям, мы вправе даже выразить восхищение его выдержкой.

Сделав вид, что руки не протягивал, а собирался лишь налить себе вина, Джеки-Серафим так и поступил, правда, пить не стал, так как один вид этого шедевра советского виноделия вызывал у него рвотный рефлекс.

– Как вы думаете, казак, можно ли в Москве-о'кей встретить-о'кей человека-о'кей, с которым ты знаком-о'кей, но не хочешь встречаться-о'кей?

Заданный именно так, невнятный до непонятности, вопрос этот мгновенно был Коромысловым понят, и, не переспрашивая и не уточняя, он попытался на него ответить, так как сам в своей жизни совершенно неожиданно встречал тех, с кем встречи не искал (вспомним Лом-Али), и одновременно не мог найти тех, чьи адреса и телефоны знал, как, например, московских руководителей «Черной сотни», – чтобы очно высказать свое к ним отношение, когда до него дошел подлинный смысл целей и задач этой организации.

– Теоретически можно... – заговорил он и, вспомнив, быть может, того же Лом-Али, замолчал.

Услышав это, Серафим резко опечалился и еще больше побледнел.

Видимо перейдя в воспоминаниях к своим московским поискам, Сергей Николаевич выдал наконец вторую часть ответа:

– ...но практически нельзя.

После этих слов Серафим вновь повеселел, и щеки его заалели.

Напомним, что он страшно боялся встретить ненароком в столице своего очень дальнего якобы родственника епископа Иоанна (Недотрогова), который, в его представлении, схватит его в Москве, посадит в свой департамент и уже не выпустит.

«Слава Богу, я еду в Москву не теоретически, а практически», – с облегчением подумал Серафим. Теперь ему предстояло расправиться с еще одной своей фобией, и он задал совершенно обескураживающий вопрос:

– А козы в Москве есть?

– Коз нет, одни козлы! – внезапно подключилась к разговору официантка, засмеялась и громче защелкала счетами.

Коромыслова вопрос озадачил, и он предложил уточнить:

– Вы каких коз имеете в виду?

– Рогатых! – храбро выкрикнул несчастный козофоб.

Коромыслов внимательно посмотрел на собеседника и порадовался, что его не стукнул.

– Разве что в зоопарке, – предположил он осторожно. – А зачем вам в Москве козы?

– Мне в Москве козы совсем не нужны, мне нужны там проститутки! – торжественно объявил цель своей поездки в столицу Серафим, вдохновленный тем, что не встретит в Москве своих самых главных врагов.

А на это Сергей Николаевич решил уже не реагировать и, прекратив общение с явно неадекватным собеседником, принялся добывать последний кусок лежащей на тарелке подошвы.

Однако Серафим не собирался оставлять горячо волнующую его тему.

– Вы видели в Москве проституток, о'кей? – требовательно спросил он.

Коромыслов подумал, вспоминая, и молча кивнул.

– Их там много?

Сергей Николаевич молча вздохнул.

– Как грязи в Караганде! – ответила за него официантка Ольга и хрипло засмеялась.

Толстяк понял, что это шутка, и поддержал смех смехом.

Сергей Николаевич оставался серьезным. Выпив залпом компот и выплюнув в стакан яблоки-какашки, он поднялся и, сухо сказав всем: «До свидания», вышел, держа в опущенной руке свой сидор.

– Прощайте, казак с компотом! – крикнул ему вслед Серафим и засмеялся, но и на этот, крайне неприятный выпад Коромыслов практически не прореагировал, задержавшись лишь на мгновение, но тут же ускорив шаг.

Спустя примерно полчаса, сидя в купе почти пустого плацкартного вагона и читая лежащее на коленях «Добротолюбие», Сергей Николаевич невольно обратил внимание на торопливо прошедшую по вагону официантку Ольгу, глаза которой горели несвойственным ей деловым блеском. Через несколько минут она проследовала в том же темпе в обратном направлении, но не одна, а с еще одной женщиной в форме проводницы. Та была лет сорока, с крашеными, уложенными в большую «балду» волосами и обширной, почти на высоте плеч, грудью. Брови проводницы были насурьмлены, глаза подведены, а губы она подкрашивала на ходу алой помадой, призывно-отвратный аромат которой донесся даже до плохо различающего запаха Коромыслова. Она смотрела куда-то вдаль, рассеянно улыбаясь и к чему-то готовясь, как готовятся плохие актрисы к выходу на сцену жалкого провинциального театрала, а Сергей Николаевич не только видел, не только обонял, но и слышал, как официантка Ольга говорила своей вдохновленной спутнице:

– Девственник, представляешь? А денег полный бумажник...

И, глядя в любимую книгу русского монашества, Коромыслов стал невольно размышлять о женщинах.

Отправляясь в монастырь, Сергей Николаевич простился с миром и со всеми его составляющими: с отцом и матерью – на кладбище, с боевыми товарищами – в шумном застолье, с квартирой, гаражом и любимым мотоциклом, вот и с рестораном, и с последним куском мяса состоялось прощание, но, удивительное дело, прощания с женщиной, с последней женщиной, прощания, как такового, не было. Нет, женщины у него были, особенно сразу после возвращения с войны, и последняя, естественно, была, но не как последняя, а как одна из многих, он ее уже и не помнил.

– Всё! – приказал себе однажды утром Сергей Николаевич и даже не всему себе, а одной лишь части своего тела, когда та самая часть тела вздымала бугром толстое ватное одеяло. – Забудь! Навсегда забудь! А то и на тебя пороха насыплю.

Несмотря на выдающиеся физические кондиции, как мужчина Коромыслов не пользовался у женщин успехом, видимо их настораживала и даже пугала всегдашняя его сосредоточенность, взгляд его глубоко и крепко вбитых в глазницы глаз всегда обращенный не вовне, а внутрь – нет, женщины таких не любят. А уж казачья форма, лампасы и сапоги не влекли женщин новой свободной России, их тогда притягивали красные пиджаки, золотой Rollex на

запястье и «мерседес» под задницей – блестящая мужская скорлупа, под которой, как правило, скрывалось гнилое ядрышко, но женщины новой свободной России предпочитали этого не замечать.

Удивительное дело, но настоящий большой успех у женщин пришел к Коромыслову, когда он пребывал уже в иноческом чине. После завоеванной в Сербии победы над похотью женщины для о. Мартирия сделались точно такими же, как мужчины, людьми, хотя, приходится признать, совершенно во всем противоположными. Став иеромонахом, получив право совершать церковные таинства, о. Мартирий крестил множество женщин, и, когда, раздеваясь перед купелью, те спрашивали (часто не без кокетства): «Всё снимать?» – он отвечал спокойно и твердо: «Всё», тем самым предлагая крещаемым умалить свою зрелую плоть, низвести ее до состояния непорочного детского тельца, а в нем, иноке, видеть человека, в котором навсегда умер мужчина.

Умер-то умер, но влюблялись женщины в о. Мартирия, как в живого, – поодиночке, малыми группами и целыми женскими коллективами. Дожидались у дверей храма, как поклонницы Дмитрия Хворостовского у дверей консерватории дожидаются автограф получить, – к ручке приложиться, тоже своего рода автограф.

И – получали.

И мужья тех женщин, не сумевших в любовной горячке сохранить тайну своего чувства, поджидали иногда о. Мартирия уже не у дверей, а в тесных монастырских закоулках, чтобы не «получить», а проучить, и тоже «получали». Хотя о. Мартирий не бил, а всего лишь защищался, после чего помогал подняться, отряхивал одежду, вправлял вывихнутую руку или свернутую челюсть, спрашивал, как зовут раба Божьего, обещая молиться о его телесном выздоровлении и душевном равновесии, и молился, как обещал.

К женским в себя влюбленностям о. Мартирий относился снисходительно, признавая, что для неофиток это несомненное искушение, но искушение практически неизбежное, и справедливо полагая, что зрелой замужней женщине предпочтительнее влюбиться в монаха, чем в соседа, начальника или смазливую юнца, во всяком случае, никаких дурных последствий от такой влюбленности не будет, и может, таким извилистым путем барышни придут наконец к Богу.

В общении с мужчинами о. Мартирий был холоден и суров, к женщинам же относился с душевной теплотой и все прощал за то лишь, что спасли они веру православную, выстояли на своих больных ногах в полуразрушенных храмах, удержали последний православный окоп, дождались от врага передышки, но теперь, когда надо в атаку подниматься, потерянные рубежи возвращая, мужики нужны, мужики, и тут уж не грудями, а грудью – вперед!

И вот, как только эта мысль родилась в голове Сергея Николаевича, он закрыл «Добротолубие» и положил на столик, намотал на запястье ремень сидора, поднялся и грудью вперед пошел в том направлении, в каком удалились алчные эмпээсовские искусительницы.

Мы уже говорили – Серафим показался ему крайне неприятным, даже физически неприятным, а «казак с компотом» оскорбило до глубины души, но три детали привлекли внимание Сергея Николаевича, загадали загадку, которую хотелось разгадать.

Первая деталь – «три семерки». Толстяк сказал: «Хорошо, что не три шестерки». То, что он знает число зверя, ни о чем не говорило – его теперь все знают, – но то, что он его боится (а он явно испугался), говорит кое о чем.

Вторая деталь – имя. Очевидно было, что никакой он не Джеки, но и поверить в то, что этого жирного пижона зовут Серафимом, было почти невозможно. Однако можно придумать Джеки и вряд ли возможно – Серафима. А если его в самом деле зовут Серафим, то к этому надо отнестись со всей серьезностью, потому что в наше время такие имена с потолка не берутся.

Но не первое и даже не второе заставило Коромыслова подняться и двинуться грудью вперед, а третье – третье слово, со смущением произнесенное официанткой Ольгой, которое чаще всего теперь так и произносится, слово редкое, можно сказать, реликтовое – девственность.

Тот пошлый развязный толстяк – девственник?

Из своего жизненного опыта, из доверительных бесед в мужицких застольях и в мужицких же окопах Сергей Николаевич выявил неожиданную зависимость мужской судьбы от того, какая была у него первая женщина. У многих не сложилась жизнь лишь потому, что то была беспутная девица или корыстная бабенка.

Легкость первого обладания женщиной деформирует мужской характер, сеет в его душе споры гнили.

Этот Джеки-Серафим был Коромыслову не сват и не брат, но как не помочь человеку, если можно ему помочь, тем более что от этого, возможно, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь?

Так что если попытаться ответить, зачем Коромыслов шел по узким вагонным проходам, перешагивая вонючие тамбуры и сгибаясь в местах соединения вагонов, ответ прозвучит несовременно и несколько даже пафосно: «Чтобы девство его сохранить». Не навсегда, хорошо, скорее всего – до лучших времен, до того момента, когда этот вздорный толстяк встретит свою единственную и неповторимую, свою Эсфирь.

Войдя в очередной вагон, Сергей Николаевич столкнулся с идущей навстречу официанткой Ольгой.

– Фу, чёрт, – ругнулась она и хотела продолжить движение, но он преградил путь и строго спросил:

– Где парень?

– Какой парень? – женщина сделала вид, что не понимает.

– Тот самый, – еще более строго напомнил Коромыслов.

– А я почему знаю! – выкрикнула Ольга, глядя угрюмо и зло. – Пропусти!

Требование исходило от женщины, и Коромыслов инстинктивно посторонился, но вовремя увидел в руке Ольги знакомый бумажник с подмигивающей японкой на обложке. Он схватил официантку за запястье, поднял ее руку с бумажником и потребовал ответа:

– Это его?

– Не твое дело! – пискнула Ольга, морщась от боли.

Толщина бумажника уменьшилась примерно наполовину, из чего Сергей Николаевич сделал вывод, что официантка и грудастая проводница деньги толстяка поделили между собой.

– Где он?! – потребовал ответа Коромыслов.

– А я почему знаю?! Пусти!

На этот раз Сергей Николаевич не внял просьбе женщины, легко преодолевая сопротивление, подвел ее к купе проводника и постучал.

– Кто там? – донесся грудной женский голос.

– Свои, – негромко ответил Коромыслов.

Щелкнул замок, приоткрылась дверь купе, в котором стояла грудастая проводница в форменной юбке, но без пиджака и рубашки – в красной комбинации, из которой пер, как передержанное тесто, белый слипшийся бюст. Глядя на Ольгу, она спросила с ухмылкой:

– Еще одного привела?

– Вер... – только и смогла объяснить официантка.

Сунув голову в купе и заглянув за спину проводницы, Сергей Николаевич увидел на столе знакомую бутылку портвейна, фужер и коробку мармелада, но толстяка там не было.

– Где он? – потребовал он у проводницы ответа.

– Кто? – все поняв, та тоже ушла в несознанку.

– Тот парень...

– Отпусти ее, скажу, – предложила Вера, указывая на Ольгу.

Коромыслов принял условие, отпустил официантку, которая немедленно метнулась в сторону, а проводница захлопнула дверь перед самым его носом. Оставшись с носом, он не стал догонять Ольгу, а обратился к Вере через закрытую дверь, спросив очень серьезно:

– Вы успели с ним сделать это?

Та не ответила, и, поняв, что не ответит, Сергей Николаевич вздохнул и пошел по вагону.

То был купейный вагон, пожалуй, самый приличный в составе.

Сергей Николаевич стучал в каждое купе и, если не отзывались, открывал дверь сам.

Вагон оказался пуст за исключением трех купе.

В первом сидели два милиционера и пили водку, во втором, соседнем, три бандита курили анашу.

– Извините, – сказал Коромыслов и первым, и вторым, вежливо закрывая дверь.

В третьем лежал Серафим. Укрытый простышкой и подложив сложенные ладошки под щеку, он сладко спал. Коромыслов вошел и потряс толстяка за плечо, отчего простынка сползла на пол.

Серафим оказался совершенно голым.

Сергей Николаевич укрыл его и, понимая, что разбудить парня сейчас не удастся, присел на свободное сиденье, задумавшись о том, что делать дальше. Но думал совсем недолго, потому что дверь купе вдруг резко распахнулась.

На пороге стояли те два милиционера.

Выпить они успели, а закусить нет и потому были очень сердиты.

– Стоять! – закричал первый – усатый старлей.

Второй – круглолицый сержант – наставил на Коромыслова автомат и передернул затвор.

– Руки вверх! – заорал он.

– Не кричите, человек спит, – морщась, проговорил Сергей Николаевич, не собираясь выполнять ни первую команду, ни вторую.

– Документы! – потребовал старлей.

Коромыслов поднялся, достал из нагрудного кармана паспорт и протянул. За спинами милиционеров нарисовались лыбящиеся пахнущие сладковатым дымом анаша три бандита, полная гнева официантка Ольга и победно выпятившая грудь проводница Вера, которая накинула поверх комбинации форменный китель, но не застегнула.

– Сядь! – приказал старлей Коромыслову, но тот продолжал стоять во весь свой богатырский рост.

– Я сказал – сядь! – заорал усатый, но Сергей Николаевич терпеливо улыбнулся и попросил.

– Пожалуйста, обращайтесь ко мне на «вы».

От такой просьбы поганому менту на мгновение сделалось нехорошо, но он проглотил плюху, зримо проглотил – по его цыплячьей шее катнулся остренький кадычок, и, сделав над собой усилие, он попросил настолько вежливо, насколько мог.

– Сядьте... пожалуйста...

Сергей Николаевич сел, грустно глядя на улыбающегося во сне Серафима, ожидая тягостного, бездарного, противного спектакля, на какие способна только наша ментовка.

– Коромыслов Сергей Николаевич... – гнусаво затянул старлей, глядя в паспорт, и все с интересом воззрились на обладателя данной фамилии, имени и отчества, соответствует ли он ей?

Он – соответствовал.

Девяносто третий год...

То был болезненный, но любопытный и поучительный период в развитии нравов нашего общества: многие тогда сделались бандитами, и очень многие старались на них походить. В бандиты шли те, кто посмелей, поотвязанней, кому нечего было терять, а более робкие, обремененные социальным статусом, который не хотелось разминивать, перенимали ту или иную часть бандитского естества: одежду, манеру поведения, сленг. Удивительным образом больше всего в этом преуспела милиция, которая мимикрировала по всем позициям. Начальники отделений носили «голды», и чем выше был начальник, тем толще на нем была золотая цепь, и при этом думали, говорили и поступали точь-в-точь, как бандиты. Обладание оружием их также роднило. Даже форму менты умудрялись носить так, что это была уже не форма, а прикид: то фуражку свернет набок служитель закона, то кителек с плеча спустит, то пистолет в кобуре повесит на причинное место – и всё для того только, чтобы никто не подумал, что он простой милиционер, но все были уверены, что не простой.

Группа, с позволения сказать, товарищей, собравшаяся в купе пассажирского поезда «Караганда – Москва», показательно иллюстрировала тогдашнее состояние наших нравов. Со своей стрижкой-аэродромом и голдой старлей выглядел, как стопроцентный бандит, бандитский вид имел и стриженный наголо сержант, на его прижатом к спусковому крючку автомата указательном пальце красовался большой золотой перстень с печаткой. Об обкуренных бандитах нечего и говорить – бандиты они и есть бандиты. Да и прекрасная половина – злобная официантка Ольга с эковской наколкой на руке и приторговывающая утомленными жизнью пышными прелестями проводница Вера – выражением лиц доказывала свою принадлежность к многочисленному бандитскому сословию.

В этом плане будущий о. Мартирий и будущий о. Мардарий являли собой редчайшее для того времени исключение. Да, Коромыслов был в форме, но она была строгой, как он сам, и никаких иных толкований не вызывала, да и, по правде говоря, Сергей Николаевич тяготился своим казачьим нарядом, эта сторона российского казачества ему не нравилась, но в форму его обрядили при прощании соратники, и снять ее он не мог, так как другой одежды не имел, и лишь оторвал в поезде есаульские погоны, которые не считал заслуженными. Что же касается Серафима, то клоунский его наряд был прямым вызовом вконец обандиченному российскому обществу, в котором все было предельно серьезно.

Ментовская разводка продолжала меж тем неторопливо развиваться: «Кто? Откуда? Зачем?»

Сергей Николаевич отвечал на вопросы неторопливо и сдержанно, понимая, что спасти ситуацию может только этот спящий голыш, когда проснется, однако тот беспробудно спал.

– А что это у вас? – спросил бандитский старлей, указывая взглядом на сидор в опущенной руке Коромылова.

– Вещмешок.

– Вижу, что не кейс, – ухмыльнулся мент. – Что внутри?

– Личные вещи.

– Откройте и предъявите.

– Прежде вы предъявите ордер на обыск, – не согласился Сергей Николаевич.

– Ах вот ты как заговорил! – возмутился старлей и от возмущения засмеялся, и вслед за ним засмеялась вся шайка-лейка, а обкуренные бандюки заржали от души – до этого они лишь хихикали. Старлей не простил того, что его заставили перейти на «вы» и даже произнести унижающее его ментовское достоинство слово «пожалуйста», но не понимал пока, как можно за это отомстить. Мента останавливала казачья форма Коромылова, его манера держаться, но главное – его богатырская внешность, кулаки и в целом несомненная недюжинная сила.

– Я все понял, – сказал мент. – Сейчас мы составим протокол, а в Нижних Злыднях сдадим тебя в отделение. Там тебе такое дело пришьют, что только ахнешь! Вер, принеси бланк, –

попросил он грудастую проводницу, и та быстро исполнила просьбу, принеся и положив на столик чистый «Протокол допроса».

– Садись ты пиши, у тебя почерк хороший, – сказал Вере старлей, и она с готовностью собралась исполнить и эту просьбу – протиснулась к столику, намеренно мазнув холодцом своей неаппетитной плоти по лицу невозмутимого Коромыслова, села рядом и взяла ручку, готовая написать своим хорошим почерком все, что скажут.

– Вы сделали с ним это? – повернувшись к ней, негромко вновь спросил Коромыслов.

– Что – это? – проводница сделала вид, что не понимает.

– То, что за деньги делают проститутки... – объяснил Сергей Николаевич.

– Да я пришла, он уже спал! – оскорблено воскликнула Вера.

– А почему он голый?

– А я почем знаю! Может, он одежду в окно выбросил?

(Верино предположение насчет выброшенной в окно одежды было верным – Серафим действительно выбросил свою новую одежду в окно, после того как купленная им женщина сказала: «Раздевайся, а я сейчас приду», но вряд ли стоит пытаться понять, почему он это сделал.)

– А деньги взяла? – спросил Коромыслов женщину, на что та возмущенно фыркнула и посмотрела на старлея как на своего защитника.

– Здесь вопросы задаю я! – запоздало завопил мент и продолжил задавать раздражающие своей бессмысленностью вопросы.

Сергей Николаевич отвечал на них односложно, не понимая, какое дело шьет ему мстительный милиционер, а когда наконец понял, сделал то, чего не собирался да и не должен был ни при каких обстоятельствах делать.

– Вы имели с этим гражданином половую связь? – спросил старлей, разумея под гражданином спящего Серафима.

Смысл вопроса не сразу дошел до сознания Коромыслова, а когда наконец это произошло, он только руками развел, но сделал это неожиданно резко, хотя и то правда, что вопрос был слишком уж неожиданным.

Взметнулся, описывая полукруг, набитый деньгами и кирпичами сидор, разметывая в разные стороны бандитскую шваль, а подлый старлей повалился со стуком на пол. Бабы, бандюки, а также мент с автоматом в одно мгновение куда-то подевались, в купе остались лишь трое.

Мент громко стонал и жалобно смотрел снизу вверх. Под его опрокинутым затылком быстро расплывалась красная, как красное знамя, жидкая ментовская кровь.

По каким-то понятным ему еще с войны признакам Сергей Николаевич понял, что тот не нуждается сейчас в его помощи, и, решив спасти того, кому помощь нужнее, подхватил на руки спящего Серафима и зашагал бочком по узкому проходу купейного вагона.

Они уже были в другом, плацкартном вагоне, когда опомнившиеся три бандита – два с пистолетами, и еще один с ножом, мент с автоматом и официантка Ольга с бутылкой из-под портвейна наперевес кинулись вдогонку. Грудастой Верки с ними почему-то не было.

Помните, мы говорили, что в наших поездах совершаются невиданные поступки?

Разве мы были неправы?

И можем представить себе, какими глазами немногочисленные пассажиры поезда «Караганда – Москва» смотрели на бегущего по проходу могучего казака с голым спящим толстяком на руках и как они реагировали на свору преследователей, из которых один был с автоматом, двое с пистолетами, еще один с ножом и дама с бутылкой из-под портвейна.

Это была картина!

Казалось, спасти беглецов могло только чудо, и как бы ни хотелось потом о. Мартирию и о. Мардарию свое спасение чудом считать, спасли их на самом деле деньги, те самые деньги,

которые должны были оказаться в монастыре, а оказались, скорее всего, в бандитско-милицейском общаке. В тамбуре предпоследнего вагона коромысловский сидор зацепился за какой-то крюк, обветшавшая его ткань треснула, и на пол упали сначала кирпичи силикатные, а потом денежные.

Поняв, что случилось, Сергей Николаевич не стал останавливаться, а свора остановилась. Вот ведь как бывает – жадность одних спасла других.

Ударом ноги выбив дверь последнего вагона и оказавшись на открытой площадке, Коромыслов должен был решить, что делать дальше: принять бой здесь или уходить в бесконечные хвойные леса, что безмолвно стояли по обе стороны железной дороги, пряча острые макушки в низком беззвездном небе.

Но Сергей Николаевич не мог этого сделать, испытывая не присущую ему растерянность. Он смотрел на свою нелегкую ношу с сомнением. Ему показалось вдруг, что он ошибся в голом толстяке, что не стоит тот принесенных жертв.

Видимо, под влиянием свежего ветра Серафим вдруг проснулся и, не открывая глаз, высоко и неожиданно красиво запел:

– И-и-же херу-ви-и-имы-ы...

И все сомнения Сергея Николаевича мгновенно улетучились.

Поезд гнался за кем-то невидимым, или за ним кто-то невидимый гнался – прыгнуть с него означало погибнуть, однако и не прыгать было нельзя, и опять же – не так за себя боялся Коромыслов, как за эту розовую тушу.

Положение представлялось безвыходным, и вновь, о чудо, случай пришел на помощь – поезд резко затормозил, колеса зазвенели, высекая из рельсов снопы искр, последний вагон резко дернулся – так резко, что наши беглецы мягко сползли вниз.

Постояв с полминуты, поезд недовольно гуднул, дернулся и продолжил движение – то сорвал стоп-кран один из бандитов в горячке драки за мешок с деньгами, впрочем, что нам уже те бандиты...

Нет смысла объяснять, как нелегко было двум практически незнакомым, совершенно разным людям без документов и денег, имевшим на двоих одни штаны и оказавшимся в ночном сумрачном лесу практически с нуля начинать новую жизнь, но они ее начали.

Окончательно проснувшись утром под елью, лежа на теплом сухом мху в штанах с лампасами и казачьем кителе, глядя на сидящего у костерка в белой полотняной рубашке, трусах и сапогах Коромыслова, Серафим стал отмаывать свою жизнь назад, а потом вновь сматывать вперед, возвращаясь ко вчерашнему дню, и, отчетливо все вспомнив, устыдился и заплакал.

Задумчиво глядя в огонь костра, Сергей Николаевич докурил до основания последнюю в жизни сигарету, посмотрел на него и спросил.

– Ты плачешь, Серафим?

– Плачу, – ответил тот и заплакал пуще.

И глядя на него, заплакал Коромыслов.

(Между прочим, Серафим, который всплакнуть любил, видел тогда коромысловские слезы первый и единственный раз в жизни.) Впрочем, длилось это недолго, Сергей Николаевич решительно поднялся, встал лицом на заалевший восток и сказал.

– Вставай, читай утреннее правило.

Выбравшись из лесной чащи, наши странники набрали на деревеньку, от нее двинулись к ближайшей церквушке, там узнали, где находится какой-либо монастырь, и добрались до него.

Монастырек был маленький, неустроенный, из вновь открытых.

Целый год Сергей Николаевич и Серафим послушничали и иночествовали, после чего были пострижены в монахи с редкими именами Мартирий и Мардарий.

Что скрывать, в своей новой предвечной жизни они предпочли бы иметь другие имена: Коромыслов хотел бы называться Петром, и тому имелись как минимум две причины, Сера-

фима вполне устраивало его данное при рождении имя, но постригал молчаливый строгий игумен, недавно приехавший то ли из Америки, то ли из Армении – посмотрел на одного, посмотрел на другого и так решил. А спустя пару месяцев о. Мартирия и о. Мардария перевели во вновь открываемый, знаменитый когда-то Неверский Свято-Ферапонтов мужской монастырь, и что было там, – где в общих чертах, а где весьма подробно, – мы знаем, так что хватит об этом. Давно пора вернуться нам туда, откуда так надолго ушли, чуть было не запутавшись в извилах судеб двух новых русских чернецов – туда, где мы их оставили, а именно в ИТУ 4/12-38, попростому – в «Ветерок».

Как там у нас было?

Вперед назад?

Ну, тогда – назад вперед?

Вперед!

Глава двадцать первая. На эхе ночь

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое ноября одна тысяча девятьсот девяносто девятого года «Ветерок» не спал.

Накануне вечером случилась вдруг редкая для тех мест оттепель, особенно досадная после уже, казалось, устоявшихся морозов. И хотя на календаре еще значилась осень, все давно и привычно вошло в зиму: поутру мужчины влезали в ненавистные кальсоны: женщины бодро натягивали шерстяные рейтузы: толстые зимние шинели и бушлаты застегивались на все пуговицы, а тяжелые нутриевые шубы и драповые пальто с песцовыми воротниками – на незаметные стороннему глазу крючки; когда торжественно, когда иронично, а чаще всего привычно водружались зимние головные уборы – шапки форменные и вольного кроя – норковые и песцовые.

Все были уверены, что так оно и будет до далекой, бесконечно далекой весны, были к этому готовы, и вдруг – на тебе, безо всяких видимых причин, примет, предупреждений в течение какого-нибудь часа все с ног на голову перевернулось: напоминавший манную крупу мелкий жесткий снежок сбился в тяжелые влажные комья, которые вылетали из темноты, прочерчивая в жидком свете фонарей изогнутую траекторию, со всего маху припечатывались к стенам домов, гулко стучались в окна, по-улиточьи сползали по стеклу, оставляя за собой противные склизкие следы, а затем хлестанул злой косою дождина под аккомпанемент глухих раскатов совершенно неуместного в это время года, очень неприятного, тревожащего душу грома, и весь этот природный беспредел сопровождался бешеным с завихрениями ветром – куда ж без него в «Ветерке»...

А к полуночи стало стихать, сделалось неожиданно тепло, почти по-банному парко – попробуй засни.

Но не только из-за непогоды, и даже совсем не из-за непогоды не спал «Ветерок» в ночь с тринадцатого на четырнадцатое. Сначала эки дружно потешались, вспоминая, как накануне среди бела дня на глазах у всех церковный кот отодрал хозяйского пса, но, узнав о том, что будет завтра, забыли о том, что было сегодня. Весть о грядущем поединке Хозяина с Монахом взбудоражила заключенных. Даже усилившиеся в последнее время слухи о близком конце света перед этим известием отодвинулись на задний план. Хотя, казалось бы, несравнимые вещи: спортивное состязание местного масштаба и – конец света, но эковскую логику в данном случае понять нетрудно: конец света случится самое близкое через полтора месяца, да и то не факт, поединок же состоится завтра при любой погоде – своих Динамиад Хозяин никогда не отменял и сроков не переносил. А масштаб событий только на первый взгляд кажется несопоставимым. Ясен пень – время, оставшееся до конца света, до конца срока ли, будет определяться тем, кто завтра победит и соответственно какие из этого последуют оргвыводы. Победит Хозяин – Бога нет, победит Монах – есть.

Само по себе Божье существование не так уж волновало узников «Ветерка», гораздо более важным им представлялось, какая в их узилище наступит жизнь, если таковое существование придется признать официально. На «нет», как говорится, и суда нет, а если «есть»?

Тут тебе и суд, и пересуд, и увеличение сроков, и ужесточение режима.

И ведь никуда уже не денешься! Это на воле начальник всего лишь начальник: не понравился – послал его подальше и пошел на другого горбить. А на зоне начальник – Хозяин, послать его можно, да сменить нельзя, потому никто и не посылает. Это на воле Бог просто бог, хочешь – есть он, а хочешь – нет, кому как нравится, а на зоне бог – Бог в законе, тут уж никто не отвертится, перед ним и Вася-грузин будет как последний пидарас.

Не спали на зоне, не спали и *на поселке*. Тут не спали еще и потому, что накануне, после долгих совещаний, ожиданий и бесконечных пробных пусков, заработала наконец поселковая

котельная. У заключенных она была своя, у вольных своя – химики так нахимичили, нет, чтобы одну на всех построить. Причем у зэков котлы новые, а у вольных – старые. Смех и грех: охраняемые ночью под одной простышкой в тепле балдеют, а охрана под двумя одеялами дрожит, и электрообогреватели особо не повключаешь – напряжение в сети падает, во всем поселке свет вырубается.

Заработала – и сразу на полную катушку, ни в чем наш человек меры не знает!

Да и Гидрометцентр, будь он неладен, обещал минус пятнадцать, а на градуснике час назад было плюс восемь, сейчас – плюс десять, и неизвестно, что будет через час...

Всклокоченный, босой, в трусах и майке, Челубеев стоял в кухне у открытого окна, недоверчиво смотрел на привинченный к раме градусник, стучал по нему ногтем, хватал ладонью теплый густой воздух, неожиданно напоминавший женскую плоть.

Надо, надо было спать, но заснуть никак не удавалось.

Звонил в котельную, но там не брали трубку...

Челубеев знал, почему не берут, и понимающе усмехался: по поводу открытия нового отопительного сезона устроили сабантуй. Не закрывая глаз, Марат Марксэнович видел, как там это все происходит: красные разгоряченные лица, улыбки, смех и – старая газета, расстеленная на железном, пахнущем солярой столе, крупно нарезанные хлеб, лук и сало – самая правильная мужская закуска, а к закуске...

Час назад отправил в котельную дежурного по поселку, чтобы убавил в котлах жар и навел порядок, дежурный отправился туда и сгинул.

И его понимал Челубеев.

С каким удовольствием он сам сейчас бы там оказался и сначала устроил бы для порядка разнос, а потом, после паузы, сказал бы, примирительно улыбнувшись: «Ну и мне плесните, что ли, капель двести». И посидел бы часик-другой с мужиками, поговорил бы о нелегком житье-бытье всех, кому выпала судьба служить в системе исполнения наказаний.

Но не мог, не имел на все это права Марат Марксэнович, так как должен был сейчас спать, чтобы проснуться полным сил, которые так нужны для победы.

Положив в задумчивости руку на батарею, он отдернул ее, обжегшись, проворчал: «Архаровцы», и тут же услышал за спиной шаги, не Юлькины – Светкины, их Челубеев во всем свете ни с чьими не спутает – голыми подошвами по линолеуму: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп...

И так захотелось повернуться и увидеть ее: родную, большую, теплую, с растрепанными волосами и припухшим со сна лицом, в простой ночнушке, но не повернулся, а продолжал стоять, как стоял.

Вот ведь – даже такой малости не мог позволить себе сейчас Челубеев – повернуться и посмотреть на жену!

Да, трудно быть Хозяином в зоне, но в своей семье быть им еще труднее. Хотя понятно почему: там штат, замы, можно что-то поручить, что-то перепоручить, а здесь все один, все сам, и по-другому быть не может!

Села – табурет заскрипел, ножка у него иногда отваливается, как бы не грохнулась, оправдывайся потом, почему не починил – много раз обещал.

– Ты чего не спишь, Марат?

После памятного случая, когда штурмовал ночью жену и получил в ответ одно мертвое безразличие, Челубеев ушел спать на диван в большой комнате и по сей день там спал. Повода вернуться в спальню не было, да и не искал Марат Марксэнович повода.

– Ты что-то спросила?

– Чего... гу-ук – гу-ук... не спишь? – Светка пила воду из ковша, так жадно, что дыхание перехватило, Челубеев не видел этого, но слышал – как будто видел.

– Не спится, – глухо ответил он.

– Фу-у, ну и жара... Они что там, в котельной, с ума посходили?

Из-за спины донеслись негромкие и непонятные для постороннего человека звуки. Для постороннего, но не для Челубеева, который со своей женой четверть века прожил. Но, поворачиваясь, он знал, чувствовал, кожей спины ощущал, затылком видел, что она там сейчас делает: взяла двумя пальцами край ночнушки на груди и туда-сюда, туда-сюда, вроде как опалахалом...

Эх, Светка, Светка, схватить бы тебя сейчас в охапку, перекинуть через плечо, отнести в спальню и сделать то, что положено мужу со своей законной женой по ночам делать, что скрепляет семейную жизнь лучше хорошей зарплатой и детей-отличников.

Но – нельзя!

Причем категорически.

– Да я уже четыре раза туда звонил...

– И что?

– Не отвечают.

– И не ответят.

– Кузьмина послал час назад.

– И с концами?

Челубеев кивнул.

И Светка тоже за спиной кивнула.

Что-то новое, а точнее, старое, давно не слышанное почувствовал он в голосе жены, когда она вдруг спросила.

– Не простудишься у открытого окна?

Заботится?

– Когда я простужался?

– Никогда... Пошли спать, Марат.

В каком смысле спать?

Нет, на это предложение отвечать не нужно!

Не дождавшись ответа, встала, ножка у табурета отвалилась, а она промолчала.

Не заметила?

Светка не заметила?

Не может такого быть!

Марат Марксэнович скосил глаза и, к удивлению своему, увидел жену не такой, какой себе ее представлял. Совпали лишь босые ноги, а остальное нет: не растрепанная, не припухшая, а как будто фотографироваться на паспорт собралась, даже губки вроде как подкрашены.

И не простая мятая ночнушка на ней, а гипюровый пеньюар, который сам подарил много лет назад на Восьмое марта, и если Светка его надевала, это означало только одно...

Не заметить?

Не поверит.

Но пожестче надо, погрубее!

Одновременно не совсем грубо, а то обидится...

– Ты чего это вырядилась?

Осматривает себя, как маленькая девочка в новом платьице, – мол, я и не заметила, что надела, даже губку нижнюю от удивления выпятила.

– А это... спать хотелось сильно... взяла в комод, что первое под руку попало.

Врет или не врёт?

Пойми...

Хотя это ничего не меняет.

– Ну, я пошла?

Думаешь, скажу: «Останься»?

– Иди.

– Спокойной ночи?..

Первый раз за долгое время спокойной ночи пожелала, только вопросительная интонация зачем?

Ну ничего, мы тоже люди вежливые.

– Спокойной... – А вот это хорошо прозвучало, очень хорошо – не грубо, но твердо, по-мужски.

И опять: шлеп-шлеп... шлеп-шлеп... шлеп-шлеп...

Но, спокойно, Марат, спокойно! Потому что даже если можно, даже если Светка этого хочет и даже если очень хочет, все равно нельзя, сегодня ночью никак нельзя, потому что накануне ответственных соревнований алкоголь и секс исключаются, во всех пособиях по силовым видам спорта так написано. Для Челубеева это не только теория, но и горькая личная практика: в восемьдесят втором, на Спартакиаде народов РСФСР в Ижевске выпил маленько и с прыгуньей на батуте в гостинице уединился. А на следующий день вылетел из соревнований еще на предварительном этапе. Так и сказал тогда себе: «Допрыгался Челубеев». Урок был на всю жизнь. А батутница, между прочим, серебряную медаль хапнула, хотя раньше в фаворитках не числилась. У женщин все по-другому: во время этого дела мы свою силу им отдаем, а они ее от нас получают, вроде как от аккумулятора заряжаются...

Эх, не тебе, Светлана Васильевна, завтра выступать, а то б я сейчас подсобил, силушки подкинул!

Челубеев снял трубку и в последний раз набрал котельную.

Занято...

Понятное дело, напились и подружкам звонят.

«Всё – спать!» – приказал себе Марат Марксэнович и, выходя из кухни, решительно хлопнул ладонью по выключателю. Из-за неплотно прикрытой двери Юлькиной комнаты пробивался свет.

Тоже не спит...

Интересно, за кого болеть завтра будет?

За родного дядю, который в трудную минуту приютил и дал работу, или за чужого, который конец света в ближайшем будущем пообещал?

Челубеев лег на диван, заложил руки за голову и стал думать о том, что будет завтра, а точнее, уже сегодня, три часа, как сегодня – когда ложился, старые настенные часы Омского часового завода пробили три.

Бородатый силен, ничего не скажешь, но сама по себе сила в спорте мало что решает. Есть методика подготовки, есть техника исполнения, есть, в конце концов, спортивная психология, и во всем этом дремучий монах, конечно, ни ухом ни рылом. Одного желания победить мало, нужны тактика и стратегия, нужны, в конце концов, тылы!

Хотя тылы у Челубеева как раз подкачали...

Можно сказать – перешли на сторону врага...

Как Светка сегодня смеялась, когда монах что-то там про свечки сказал...

Пошутил...

А раньше смеялась так только его, Челубеева, шуткам.

Жена в спальне протяжно вздохнула и заворочалась.

Вздыхай и ворочайся, Светлана Васильевна, вздыхай и ворочайся, но в спальню я вернусь только после того, как твой монах из вверенного мне учреждения безвозвратно уберется.

Да так, чтобы духу его здесь не осталось!

Другого пришлют?

Нехай присылают, хуже не будет. (Почему-то Челубеев был уверен, что хуже не будет.) Уберется бородатый, и забудет Светка о своем боге, как забывает уже перед едой молиться.

Не сразу, постепенно...

И он снова станет в своей семье хозяином.

А Хозяином в зоне станет да фактически уже сегодня.

А православная мафия будет обезглавлена и рассеяна!

Под них он подложил мину.

Подарок судьбы была эта мина, иначе не скажешь – подарок судьбы...

...Оставшись после ухода незваных гостей в кабинете один, Челубеев пребывал некоторое время в задумчивости, потом подошел к любимицам своим – Дусе и Фросе с намерением повторить номер бородатого: ухватить сладкую парочку за заушины, поднять и перекреститься, и уже ухватил, но поднимать не стал, отпустил, выпрямился и в еще большей задумчивости в сторону отошел.

«А что если в этом, нехитром на первый взгляд, действии какая-то подлая магия заключена?» – подумал тогда Челубеев. – Как «крибле-крабле-бумс» в сказке, сказал – и вот ты уже Карлик-нос»...

Нет, в сказки Марат Марксэнович еще в детстве перестал верить и при советской власти ни про что такое не думал – да и не было ничего такого, а сейчас каждый вечер по телевизору то тарелки, то барабашки, то зомби всякие – поневоле поверишь.

Перекрестись – и будешь потом, как Шалаумов с Нехорошевым, молчать и кивать.

«Но чёрт с ними со всеми, не захочет человек, никто его не зомбирует!» – упрямо подумал Марат Марксэнович и хотел вернуться к Дусе и Фросе, но даже шага не сделал.

«А не будет ли это изменой принципам? Как если бы, к примеру, настоящий коммунист, какие были раньше не только в кино, но и в жизни, встал и вместо “Сталину слава” сказал: “Хайль Гитлер!”... Нет, не при всех, не на партсобрании, а наедине с собой, но это ведь еще хуже, еще страшней, больше, чем предательство...»

Пока Челубеев пребывал в несвойственных его характеру сомнениях, все глубже в них погружаясь, стало ему вдруг казаться, что в кабинете есть кто-то, кто к этим сомнениям его подводит и в них, как в омут, затягивает. Медленно повернув голову, Марат Марксэнович остановился взглядом на иконе.

Усмехнулся, – монах икону забыл, как же – хитер бородатый... Подошел к ней решительно, поднял без страха и сомнения и понес.

Юлька за своим рабочим столом, как всегда, отсутствовала, а на столе, как всегда, куча неразобранных бумаг и свежая почта, среди которой выделялся конверт из обл-суда. Не было никакой спешки, да и интереса особого не было, но взял его Челубеев, открыл, прочитал, что там написано, еще раз прочитал и понял: «Вот она – мина!»

Кровь закипела от радости в жилах, но усилием воли Челубеев охладил ее, чтобы остужала мозг, делая его спокойным и расчетливым – при ЗАминировании требуется быть не менее хладнокровным, чем при РАЗминировании.

После чего положил «мину» в боковой карман кителя, взял икону, вынес ее на улицу и поставил в коляску монашеского мотоцикла.

Просили заправить?

Заправим!

Челубеев сбежал к своей «Нивке», в которой всегда на всякий случай канистра с бензином стоит, перелил в мотоциклетный бак, подбавил масла – тоже под рукой оказалось. Ключ зажигания бородатый, конечно, унес, но это не остановило – соединил какие надо проводки и с пятого удара (монах по полчаса заводит) завел, вскочил на сиденье и хорошенько газанул, вспомнив юность, когда на угнанной «Яве» катал соседскую девушку Яну по ночным Чебоксарам.

На войне мины под танки специально дрессированные собаки подкладывали, в школе про них рассказывали, и даже картинка такая в учебнике была. Жалко собачку, а что поделаешь – за Родину...

Свою «собачку» Челубеев не дрессировал, но был уверен, что никуда она не денется, побежит, поползет, понесет в логово врага «мину».

Ухнет взрыв, ахнет враг, и вот она – победа!

Да и от «собачки» заодно избавление...

...Челубеев вспомнил, как мотался по зоне на монашеском «Урале», пугая охрану: Зуйкова искал и нашел его не где-нибудь, а в сортире, и не с кем-нибудь, а с вонючим неугодником.

Такие они, православные...

– На эхе ночь, – проговорил Марат Марксэнович, – На эхе ночь, на эхе ночь...

Эту загадочную фразу он слышал несколько лет назад, когда гостил в Москве у дяди и они полуночничали по-мужски на кухне, а из радиоприемника время от времени доносились слова: «На эхе ночь».

Какая ночь, на каком эхе, почему? – для Челубеева это так и осталось невыясненным, но с тех пор эта фраза наилучшим образом помогала при бессоннице – повторишь ее разиков пять и дрыхнешь.

– На эхе ночь...

– Ты что-то сказал?

Челубеев ругнулся в свой адрес – вслух вырвалось, а у Светки ушки на макушке.

Идет сюда?

Точно – идет.

Шлеп, шлеп... Шлеп, шлеп...

– Ты что-то сказал?

Пришла специально, чтобы спросить?

Ну ты, Свет, даешь...

– Да вспомнил тут...

– Что?

– Ничего.

Челубеев не ответил, промолчал – не станешь, в самом деле, среди ночи рассказывать, как усидели с дядей три поллитры и не заметили.

– А я думала, ты меня позвал...

– Зачем?

– Не знаю...

И села в конце дивана на край и вздохнула, как в прошлый раз.

Что это ты, Свет, развздыхалась?

– Сна ни в одном глазу... А Мартышка дрыхнет как ни в чем не бывало! На спинке лежит, лапки кверху подняла.

Челубеев вспомнил, как неслась его Светлана Васильевна через двор со шваброй наперевес, и хмыкнул:

– После этого дела спится вообще хорошо.

– Не смейся, Марат! А вдруг она забеременеет?

– От кого? От кота? – Челубеев не удержался и прыснул.

– А что, сейчас такое время! Все перепуталось, перемешалось... Поневоле поверишь...

Вот ты и поверила – поневоле! Эх, Светка, Светка...

Спросить бы тебя сейчас прямо, как на допросе: «За кого завтра будешь болеть?»

Точнее, уже сегодня...

Так в слезы ж кинется, и тогда точно не получится уснуть.

Но вот ведь как: убить был готов, как лучше застрелить – примеривался, а сейчас жалко – сидит в ногах, как собачка.

Погладить бы тебя по теплой широкой спинке, да нельзя, – поймешь неправильно.

Раньше он неправильно понимал...

Светка возмущалась, смеялась, когда под ним оказывалась. «Да ты неправильно меня понял!»

Неужели поменялись ролями?

Да нет, рановато еще об этом думать. Завтра, завтра я неправильно тебя пойму, Свет, а сегодня нельзя.

Не могу, не имею права!

Хотя, после этого дела засыпаешь сразу...

Но Юлька за стенкой – услышит. Правда, если совсем по-тихому – не услышит...

Но по-тихому Светка не любит, причем категорически.

В молодости еще сказала как отрезала: «А это ты мне даже не предлагай!»

Сделал вид, что удивился: «Почему?»

«Потому что все для своего предназначено».

Ответ жены понравился своей хорошей правильностью, но сделал на всякий случай еще один заход, заговорил с полемическим задором: «А люди что, дураки? Французы – дураки? Весь мир дураки, одни мы умные?» Думал, к стенке припер, не отвертится, а она вдруг возьми и скажи: «Меня от этого стошнит». И стыдно стало тогда Челубееву, противно от собственной настырности, и больше уже никогда не предлагал жене «по-тихому», на стороне иногда забавлялся.

– Ты за кого болеть собираешься?! – не хотел спрашивать, а спросил – вырвалось неизбежное.

И закачалась Светлана Васильевна от этого прямого вопроса, как тоненькая березка на бешеном ветру, забилась, как попавшая в силки птица, застонала от непередаваемого словами страдания:

– Ма-ра-а-ат! – и упала, ткнулась лицом в мужнин пах.

Челубеев от неожиданности растерялся, а чуть погодя, еще больше растерялся, сам себе не веря.

«Неужели? Неужели правда?» – спрашивал он себя, хватаясь за обрывки мечущихся мыслей, не зная, радоваться происходящему или возмущаться.

Но ведь нельзя, ведь завтра...

Точнее, уже сегодня...

Светка!

Как же ты истосковалась, родная!

И вдруг бухнула в голове тревожная мысль: «А этот небось уже спит» – бухнула и пропала, утонув в сладостной неге...

...Но вопреки тревожному предположению этот (Челубеев имел в виду конечно же о. Мартирия) не спал, и спать не собирался.

Он никогда в «Ветерке» не спал, проводя остаток ночи после долгой исповеди перед утренней литургией в чтении «Добротолюбия», этой любимейшей книги русских монахов, имеющих склонность к аскетическому служению.

А о. Мардарий в это время обычно сладко посапывал на своей кровати, утонув в пышной подушке. Правда, прежде чем заснуть, всякий раз пытался уговорить брата последовать своему примеру.

– Сосни, отец! Хоть немножко-нат, хоть часик-нат... – говорил он, зевая.

– Никак! – отвечал о. Мартирий и прибавлял: – Когда сплю, бесы во мне пробуждаются, – имея в виду известную нам привычку воевать во сне. Не хотел о. Мартирий искушать неокрепшие души старосты и его подручных, которые спали за фанерной перегородкой и могли все услышать.

Но в ночь с тринадцатого на четырнадцатое ноября 1999 года не спал и о. Мардарий. Толстяк был возбужден и даже перевозбужден: физиономия красная, глазки бегают, мокрые от пота жидкие волосенки прилипли ко лбу, огромный живот встревоженно колыхается под старым сатиновым подрясником. Места себе о. Мардарий не находит: то на стул сядет, то на кровать обопрется, то примостится на подоконнике, но и минуты нигде не задерживался: вскакивал, метался, накручивал круги вокруг статуарно неподвижного о. Мартирия, сидящего на стуле с книгой в руках.

– Отец-нат, отец-нат, отец-нат! Отмени-нат, отмени-нат, отмени-нат! – в отчаянии повторял он одно и то же, но о. Мартирий то ли делал вид, что не слышит, то ли не слышал в самом деле – настолько к этим призывам оставался безучастен.

– О-о-о-тец!! – с каким-то внутренним стоном воскликнул в конце концов толстяк, бухнулся перед сидящим братом на колени и положил свою голову на раскрытую книгу, как на плаху. Помнится, матушка Неонила так воскликнула и так же упала перед о. Серапионом, когда тот с температурой 38 собирался на охоту, оказавшуюся в его жизни последней. Батюшка тогда строго матушке попенял: «Не грехи, мать, встань».

Таких подробностей о. Мартирий из жизни родителей своего соратника и сподвижника конечно же не знал, но, что интересно, прореагировал так же, сказав почти слово в слово и с той же интонацией:

– Не грехи, отец, встань.

Матушка Неонила послушаться не посмела и встала, а дальше – о. Мардарий очень хорошо помнил, что было дальше, поэтому продолжал стоять на коленях.

– Не встану-нат! Пока не откажешься-нат! – объяснил он, оторвав голову от книги и глядя на о. Мартирия по-собачьи преданными глазами.

– Тогда я встану, – сказал большой монах, поднялся и отошел к окну. – Подумай сам, как я могу отказаться, если уже договорился? Договор есть договор.

– А ты сошлись на что-нибудь-нат, придумай-нат, скажись больным-нат! – предложил выход из положения по-прежнему коленапоклоненный о. Мардарий.

В глазах о. Мартирия появилось удивление.

– Как же я могу сказатьсь больным, если я здоров? – Тут к удивлению прибавилась досада: – От кого от кого, а от тебя, отец, не ожидал услышать подобное. Никак.

Гладкая физиономия о. Мардария сморщилась, и, замахав детскими ладошками – часто-часто, как заяц, бьющий в барабан, он сдавленно затараторил:

– Не то-нат, не то-нат, не то-нат... Не то говоришь-нат! А если он победит-нат? Что делать будешь-нат? Что делать будем-нат?

Этот естественный и закономерный вопрос, оказался для о. Мартирия совершенно неожиданным. На лице его изобразилось еще большее удивление.

– Как это он победит? Не победит. Никак.

– Так-то оно так-нат, да только, чтобы он не победил, ты победить должен! Он эти штуки, – о. Мардарий изобразил руками подъем гирь, – туда-сюда-нат, туда-сюда-нат, каждый день тягает-нат! А ты-нат сколько лет-нат тяжелей кадила ничего не поднимаешь-нат!

Это сравнение неожиданно понравилось о. Мартирию: он улыбнулся, задумался и проговорил, мотнув головой:

– Нет, отец, кадило – тяжелее. А уж кто чашу хоть раз в жизни в руках держал, что для него какой-то двухпудовик?

– Отец! – пропищал толстяк и, испуганно глянув в потолок, зашептал: – Не искушай, Господа, отец...

– «Блажен, кто не соблазнится о Мне», – строго возразил великан сверху.

О. Мардарий поднялся, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, и, держась ладонями за поясницу, сообщил:

– Во времена святых, отец-нат, спорт-нат под строгим запретом был-нат. За участие в бесовских ристалищах-нат от церкви отлучали-нат!

Но о. Мартирий воспринял данное сообщение спокойно, он знал, что на это возразить:

– В те времена христианину было запрещено у врачей-евреев лечиться. А как звали того доктора, который тебе переломанные кости срачивал?

– Шапиро Наум Моисеевич-нат, дай ему Бог здоровья-нат.

– Вот видишь. Бывают, значит, устаревшие запреты.

– А святой и праведный Иоанн Кронштадтский футбол называл бесовским скакальем-нат! – выпалил о. Мардарий один из последних своих доводов.

О. Мартирий обиженно развел руками.

– Так я же не в футбол...

– А без благословения-нат? Разве может инок-нат что-либо делать-нат без благословения отца-настоятеля? Шагу ступить не может-нат, а ты-нат? Страшно подумать-нат, что в обители будет-нат, когда узнают-нат!.. Самовольно-нат! – этот довод был самым последним и самым главным.

Смотревший до этого на брата не без иронии во взгляде, при слове «самовольно» о. Мартирий сделался серьезным.

– Не самовольно, – не согласился он и повторил: – Не самовольно. Помнишь, как говорил о. Афанасий-старый, а новый повторял: «Легче до Господа Бога дозвониться, чем до нашего монастыря».

– А ты пробовал-нат? – язвительно улыбаясь, поинтересовался толстяк.

– Никак, – мотнул головой о. Мартирий и опустил ее.

Оба они замолчали, думая об одном и том же человеке – об и. о. о. настоятеля о. Пуде.

О. Пуд не любил о. Мартирия и о. Мардария по отдельности, а вместе не любил их вдвойне и искал повода, чтобы придраться, строго наказать, а лучше и расправиться.

– Ты пойми, отец, не мне этот поединок нужен...

– А кому? Кому-нат?

– Кому... – задумчиво и загадочно проговорил о. Мартирий.

Толстяк испуганно и испытывающе глянул на брата и не нашел в своем богатом лексиконе слова, кроме одного своего:

– Нат...

– Вот тебе и «нат», – со вздохом проговорил о. Мартирий и открыл «Добролюбие» на заложенной странице.

– Ты длинненький-нат... – нарушив тишину, осторожно продолжил о. Мардарий.

Большой монах смотрел на него непонимающе.

– А Челубей коротенький-нат! – продолжил свою загадочную мысль толстяк.

О. Мартирий пожал плечами, по-прежнему не понимая.

– Тебе-нат вон куда поднимать ее надо, во-он куда-нат, а он коротенький, поднял – опустил, поднял – опустил, поднял – опустил... Закон всемирного тяготения помнишь-нат?

О. Мартирий едва не засмеялся и посмотрел на брата взглядом, полным любви.

– Спи, отец, – попросил он и опять переключился на книгу, но толстяк снова бухнулся на колени.

– Ты тоже спи-нат! – потребовал он, решительно переступая с коленки на коленку, и поставил условие: – А если не будешь-нат, так и буду-нат стоять-нат и молиться-нат, всю ночь-нат!

– Тогда и я вместе с тобой, – проговорил о. Мартирий так, как будто этих слов ждал, отложил книгу и опустился рядом с толстяком на колени. – Давай вместе помолимся за нашу победу. Как ты сказал – Челубей? А ты говоришь – откажись... Раньше было татарское иго, а нынче иго безбожное, и веру свою мы должны защищать всеми доступными нам способами. На поле Куликовом тоже не словом убеждали. Как нашего-то звали, вылетело...

– Пересвет-нат... Пересвет-нат и Ослябя-нат, двое их, православных иноков на бой вышло-нат, – напомнил толстяк.

– Вот и нас двое, – проговорил о. Мартирий, глядя в неведомую даль. – Давай Пересвету и помолимся, чтобы помог мне победить, как он победил.

Толстяк испуганно на него посмотрел и заговорил с тем же внутренним стоном, с каким этот разговор начал.

– Не победил Пересвет, отец, не победил-нат! Все забыл-нат, всю школьную программу-нат!

– А кто же победил? – недоумевал о. Мартирий.

– Никто-нат, – словно сообщая страшный секрет, громко прошептал о. Мардарий в направлении большого уха великана. – Оба погибли-нат... И их Челубей-нат, и наш Пересвет-нат...

Но это страшное известие не испугало о. Мартирия, скорее обрадовало.

– Погиб, а сила православная победила! – торжественно проговорил он, глядя на иконы, широко перекрестился и принялся за самое бессмысленное, пустое и даже подозрительное на взгляд современного здравомыслящего человека занятие – за молитву.

Вглядываясь в движение губ, вслушиваясь в свистящий шепот о. Мартирия, мы, наверное, могли бы разобрать отдельные слова, чтобы здесь их воспроизвести, но вряд ли нам это что-то дало для понимания происходящего в душе нашего героя. Молитв много, но слова в них, в общем, одни и те же. Знающие люди говорят, что даже в секретных молитвах, недоступных простым священнослужителям, а лишь архиереям, даже в них те же самые, в общем, слова, только расположенные в ином порядке. Нам сейчас гораздо важнее знать, что думал, молясь, наш герой. Вообще-то, всякое думание, особенно при рассеянности мыслей во время молитвенного стояния, как говорят опять же знающие люди, возбраняется и вменяется в грех, и выходит, что, молясь в «Ветерке» в ночь с тринадцатого на четырнадцатое, о. Мартирий грешил...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.